Мартин Эмис

СТРЕЛА ВРЕМЕНИ

Почему я иду к дому задом наперед? Почему птицы поют так странно?

Стрела времени, или Природа преступления

Мартин Эмис

Аннотация
МАРТИН ЭМИС. Стрела времени, или. природа преступления
Часть первая
ГЛАВА 1. Как аукнется, так и откликнется
ГЛАВА 2. Из жалости жестоким надо быть
ГЛАВА 3. Поскольку я целитель, все, что я делаю, исцеляет
Часть вторая
ГЛАВА 4. Делаешь то, что делаешь лучше, а не то, что лучше делать
ГЛАВА 5. Здесь нет «почему»
ГЛАВА 6. Ноль помножить на ноль — все равно к будет ноль
ГЛАВА 7. Любит — не любит
Частъ третья
ГЛАВА 8. Потому что утки жирные
ПОСЛЕСЛОВИЕ

Аннотация

Тод Френдли ходит задом наперед и по сходной цене сдает продукты в универсам.

Его романтические связи каждый раз начинаются с ожесточенной ссоры, а то и с рукоприкладства.

Раз в месяц из пепла в камине рождается открытка от преподобного Николаса Кредитора; если верить преподобному, погода в Нью-Йорке остается устойчивой.

В ночных кошмарах Тода Френдли бушует вьюга человеческих душ, тикают младенцы-бомбы и возвышается всемогущий исполин в черных сапогах и белом халате.

В голове у него живет тайный соглядатай, наивный краснобай, чей голос мы и слышим. Он понимает: кошмары Тода Френдли связаны не с какими-либо прошлыми преступлениями, а с тем, что ему еще только предстоит совершить.

Поскольку в романе Мартина Эмиса стрела времени развернута вспять.

МАРТИН ЭМИС
Стрела времени, или природа преступления

Посвящается Салли

Часть первая

ГЛАВА 1
Как аукнется, так и откликнется

Я подался вперед, очнулся от крепчайшего сна и очутился среди *врачей*… Американских врачей. Я ощущал их энергию, безудержную, как их волосистость, и отвратительные прикосновения их страшных рук — таких сильных, чистых и ароматных рук врачей. Тело меня не слушалось совершенно, но оказалось, что глазами я двигать могу. Во всяком случае, глаза мои двигались. Врачи, похоже, пользовались моей беспомощностью. Я чувствовал, что они обсуждают мое состояние, но заодно говорят и о прочих вещах, относящихся к их обширному свободному времени: хобби и всякое такое. И меня посетила мысль, на удивление четкая и уверенная, оформленная и отточенная: как же я ненавижу врачей. Любых врачей. Всех врачей. Помните еврейский анекдот, как пожилая женщина бежит по берегу моря и в отчаянии кричит: «Помогите! Мой сын — врач — тонет». По-моему, смешно. Забавна, на мой взгляд, ее гордость: она у нее сильнее любви. Но отчего сия гордыня в этих детях-*врачах* (а не

стыд, например, не недоверчивое опасение): знакомство с бациллами и трихинами, травмами и гангреной, этот их отвратительный лексикон в этой мерзкой обстановке (окровавленный резиновый фартук на вешалке)? Они — привратники жизни. Как можно хотеть стать таким?

Стоявшие вокруг меня врачи, конечно, были одеты как на отдых; от них так и сыпались искорки загорелого мужества, а еще веяло единодушием численного перевеса. Если вспомнить мое состояние, я бы мог счесть их подход оскорбительно небрежным. Но меня утешила вульгарность этих врачей, этих бегунов и культуристов, этих дипломированных живчиков — я имею в виду их упорное стремление к красивой жизни. Красивая жизнь, во всяком случае, лучше, чем некрасивая. Это виндсерфинг, например, и очаровательные фьючерсные сделки, а еще стрельба из лука, полеты на дельтапланах и изысканные обеды. Во сне мне привиделся… Нет, не так. Попробую сформулировать иначе: над мраком, из которого я выплыл, царила некая мужская фигура с совершенно невообразимой аурой, сочетавшей красоту, ужас, любовь, похоть, а самое главное — власть. У этой мужской фигуры, или сущности, кажется, было белое одеяние (накрахмаленный

медицинский халат). И черные сапоги. А еще такая улыбочка. Наверное, этот образ являлся призрачным негативом врача номер один — в спортивном костюме, парусиновых туфлях и с удовлетворенной гримасой, — который, качая головой, указывал на мою грудь.

Время потекло незаметно, целиком поглощаемое борьбой с постелью, больше похожей на ловушку или укрытую сетями яму, и ощущением начала страшного путешествия к какой-то страшной тайне. С чем была связана эта тайна? С ним, с ним: с тем ужасным человеком в самом ужасном месте и в ужаснейшее время. Ко мне явно возвращались силы. Врачи с тяжелыми руками и тяжким дыханием уходили и приходили, чтобы подивиться моим гуканью и хныканью, моему эффектному дрыганью, моим атлетическим спазмам. Частенько оставалась одна лишь медсестра на чудесное ночное дежурство. Ее кремовая униформа похрустывала — этот звук казался утехой всех моих томлений и веры. Потому что к тому моменту мне стало несравненно лучше, я просто прекрасно себя чувствовал. Просто как никогда. Осязание со всеми его благами вернулось сначала в левую сторону (неожиданным рывком), потом в правую (восхитительно незаметно). Я даже заслу-

жил похвалу от медсестры за то, что смог более или менее самостоятельно согнуть спину, когда она подставляла мне посудину… В общем, трудно сказать, сколько я так лежал, тихо радуясь, до рокового часа — и санитарок. Пижонов-врачей я научился терпеть, медсестра являлась безусловным плюсом. Но потом явились санитарки и применили ко мне электричество и воздух. Их было три. Эти не церемонились. Они ворвались в комнату, затолкали меня в мою одежду и вытащили в сад. Точно, в сад. Потом они прикрепили к моей груди два толстых провода, похожих на телефонные (белых — добела раскаленных). В конце, перед тем как уйти, одна из них поцеловала меня. Кажется, я знаю, как называется такой поцелуй. Его называют поцелуем жизни. После этого я, должно быть, отключился.

Очнулся я со звучным хлопком в ушах, сознанием полного одиночества и чувством восторженной любви к своему обиталищу, к этому большому вялому телу, которое в тот момент уже было занято: равнодушно тянулось над клумбой с розами поправить ослабшую подвязку на ломоносе у деревянного забора. Большое тело двигалось медленно и уверенно: да, оно знает свое дело. Мне все хотелось отдохнуть и получше

рассмотреть сад. Но что-то не сработало. Почему-то не все получается. Тело, в котором я нахожусь, не слушается приказов моей воли. Я говорю: посмотри по сторонам. Но шея не повинуется. Глаза двигаются по собственному усмотрению. Это что, серьезно? С нами что-то не так? Я не поддался панике. Я довольствовался боковым зрением, благо, оно не намного хуже. Разглядел вьющиеся растения, которые покачивались и подрагивали, как пульс, как тихое биение крови в висках. И всепроникающую бледную зелень с полосками, оттененную светлым, как… как американские деньги. Я копался там, пока не стало темнеть. Сложил инструменты в сарай. Минуточку. Почему я иду к дому *задом наперед*? Погодите. Солнце заходит или всходит? Что за… какая последовательность в этом моем путешествии? Что за правила здесь? Почему птицы поют так странно? Куда я направляюсь?

Какой-то порядок, во всяком случае, установился. Кажется, я понемножку осваиваюсь.

А живу я здесь, в Америке, в безоблачной Америке, в Америке почтовых ящиков и бельевых веревок, приветливой, многоцветной, многоязыкой Америке. Зовут меня Тод Френдли. Тод Т. Френдли. Вот он я, вот он — в «Днях салата» или

пошел в «Скобяной мир Хэнка», а то на газончике возле местного «белого дома», выпятил грудь, руки в боки, с видом типа «хо-хо-хо». Вот такой я парень. Вот я — вот он. В овощном, на почте, с непременными «Привет», «Пока» и «Хорошо-хорошо». Но звучит это не совсем так. Звучит это так:

— Ошарах, ошарах, — говорит аптекарша.

— Ошарах, — подхватываю я. — Ыв как а?

— Яньдовес ыв как?

— Угу, — говорит она, распаковывая мой лосьон. Прикоснувшись к шляпе, я пячусь к выходу.

Я говорю не по своей воле, так же как делаю все остальное. Честно говоря, до меня не сразу дошло, что звучащее со всех сторон жалкое чириканье — на самом деле человеческая речь. Ей-богу, даже воробьи и жаворонки щебечут с большим достоинством. Из любопытства перевожу эти человеческие трели. Я быстро научился их понимать. Теперь я точно овладел этим языком, потому что могу говорить на нем во сне. Тод знает еще один, второй язык. Иногда мы смотрим сны и на нем.

Вот мы идем в нарядной шляпе и хорошей обуви, с «Газетой», мимо коротеньких подъездных аллей (ПЛОТНО ЗАСЕЛЕНО) и почтовых

ящиков (Уэллс, Коэн, Резика, Мелигро, Клодзински, Шеринг-Кальбаум и бог знает еще кто), мимо излучающих тихую гордость домовладений («Пожалуйста, уважайте права хозяина»), минуя набитые детьми автобусы, желтый знак «ОСТОРОЖНО — ДЕТИ» и черную тень торопливого мальчугана с портфелем в руке. (Конечно, он не смотрит, куда идет. Лишь бы бегом. Наклонился и смотрит вниз. На машины не обращает внимания: головой вертит исключительно от избытка энергии.) Когда мимо меня в «Гастрономе» пробегают такие малыши, я добродушно ерошу им волосы. Тод Френдли. Мне недоступны его мысли — но я купаюсь в его эмоциях. Я как крокодил, плывущий по густой реке его чувств. А знаете что? Каждый взгляд, обычный прищур искреннего внимания — каждая пара глаз что-то пробуждает в его душе, и я ощущаю приступ страха и стыда. Это то, к чему я иду? А страх Тода, когда я внимательно его анализирую, и *вправду* путает. И ничего не объясняет. Он как-то связан с его собственным увечьем. Кто мог бы его нанести? Как ему избежать этого?

Смотри-ка, мы молодеем. Молодеем. Набираемся сил. Даже *растем*. Я как-то не вполне узнаю мир, в котором мы находимся. Все вроде знако-

мое, но совсем не внушает уверенности. Совсем не внушает. Это мир ошибок, диаметрально противоположных ошибок. Все окружающие тоже молодеют, но их это не беспокоит — не больше, чем Тода. В отличие от меня, они не считают это противоестественным и немного неприятным. Я бессилен и не могу ни на что повлиять. Нельзя считать меня исключением. Другие люди — есть ли в них кто-то еще, такой же пассажир или паразит, как я? Счастливцы. Готов спорить, им не снится такой сон, как нам. Фигура в белом халате и черных сапогах. Неотступно, в снежном вихре, похожем на вьюгу человеческих душ.

Ежедневно, покончив с «Газетой», мы относим ее в киоск. Я внимательно слежу за датами. Меняются они так. Вслед за 2 октября идет 1 октября. А за 1 октября приходит 30 сентября. И как это понимать? Говорят, у сумасшедших в голове идет что-то вроде фильма или спектакля, который они сами ставят и оформляют — и живут в нем. Но Тод, по всей видимости, в здравом уме, да и не один в своем мире. Только мне и кажется, что фильм крутится в обратную сторону.

Я не то чтобы совсем уж наивен. Например, оказывается, я владею неким количеством свободной от оценочных суждений информации,

базовых сведений, если угодно. E = mc^2. Скорость света составляет 186000 миль в секунду. Медленнее он не может. Вселенная конечна, но безгранична. Знаю планеты: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон — бедный Плутон, ниже нуля, ниже нормы, весь из льда и камня, так далеко от тепла и света. Жизнь — это вам не миска вишни. Она водит кругами, с горки да в ямку. Что-то находишь, что-то теряешь. Она сглаживает, она выравнивает. Как аукнется, так и откликнется. 1066, 1789, 1945. У меня великолепный словарный запас (монада, ретрактильный, некрополь, палиндром, антидизистеблишментарность), и я легко владею всеми правилами грамматики. Апостроф во фразе «Please Respect Owner's Rights[1] не на том месте. (И на плакате на Шестом шоссе «Rogers' Liquor Locker»[2] — тоже.) За исключением слов, обозначающих движения или процессы, которые мне всегда хочется поставить в кавычки («давать», «падать», «есть», «испражняться»), письменная

---

[1] Примечания: 1

«Пожалуйста, уважайте права владельца» *(англ.).* От перестановки апострофа меняется число: owners' — владельцев.

[2] Примечания: 2

«Крепкие напитки Роджерса» *(англ.).* А если Roger's, то было бы «Крепкие напитки Роджера» (не фамилия, а имя).

речь вполне осмысленна, в отличие от устной. Еще анекдот: «Она звонит и говорит: "Приезжай, дома никого". Ну, я приезжаю, и что же вы думаете? Дома никого». Марс — бог войны у римлян, Нарцисс влюбился в собственное отражение — в собственную душу. Если когда-нибудь соберетесь заключать сделку с дьяволом и он захочет что-нибудь взять взамен — не давайте ему свое зеркало. Только не зеркало, оно — ваше отражение, ваша копия, ваш тайный совладелец. К чести дьявола надо сказать, что он всегда действует по собственной инициативе, а не просто выполняет чьи-то приказы.

Тода Френдли нельзя обвинить в любви к своему отражению. Напротив, он его видеть не может. Он приводит себя в порядок на ощупь, бреется электробритвой, а стрижет себя жуткими кухонными ножницами. Бог его знает, как он выглядит. В доме, понятно, есть несколько зеркал, но он никогда в них не заглядывает и не останавливается перед ними. Порой мне удается что-нибудь увидеть в затененной витрине магазина; да еще, бывает, — искривленный промельк в ноже или никелированном кране. Надо сказать, что любопытство мое сильно охлаждается боязнью. Его тело отнюдь не вдохновляет: кожа на тыльной

стороне рук покрыта пятнами, торс облачен в обвислую плоть, пахнущую курятиной и мятой, про ступни и говорить нечего. Мы встречаем на улицах Уэллпорта старых американцев — бочкообразных дедов и кряжистых морских волков, они «чудесно выглядят». Тод совсем не чудесно выглядит. Пока что нет. Он пока еще весь разбитый, согбенный, боязливый и пристыженный. А его лицо? Однажды ночью, в перерыве между кошмарами, он доковылял до темной ванной и стоял, ссутулившись, над раковиной, чувствуя себя потерянным и потерявшим себя, стараясь успокоиться, пытаясь водой из-под крана унять отчаяние. Тод застонал, распрямился перед темным зеркалом и потянулся к выключателю. Ну вот и все, подумал я. Это *должно* произойти со скоростью света. Итак, внимание. Сейчас…

Я предполагал, что внешность у меня говенная, но тут стало даже смешно. Бог ты мой. А видок-то у нас и *вправду* говно. Если точнее, коровья лепешка. О-хо-хо. Что там такое, неужто человек? Да, не сразу, но стало понятно — это Тодова голова. По бокам пара огромных гитарообразных ушей, вдоль оранжевой кожи, похожей на апельсиновую кожуру, свисают белыми сосульками реденькие волосы. Да еще и жирные. Я ведь так и

думал: каждое утро он собирает в пузырек выделяемую ими слизь и где-то раз в два месяца сдает ее в аптеку по три доллара сорок пять центов. Так же он поступает со сладковато пахнущим порошком, который выделяет его дрянненькое тело. Так вот, лицо: посреди его останков и остатков, которые ни о чем не говорят, вокруг глаз притаился морщинистый островок выразительности, суровый, скрытный, непростительно чудной и исполненный страха. Тод выключил свет. Он опять лег спать и вернулся в свой кошмар. У его простыней белый запах страха. Я вынужден нюхать то, что нюхает он: детскую присыпку и вонь его ногтей, прежде чем огонь их выплевывает. Тод ловит их тарелочкой, а затем мучительно прилаживает к своим трясущимся пальцам.

Мне только кажется или все и впрямь так странно устроено? Вот например, вся жизнь, все средства существования и смысл его (и немалые денежные суммы) происходят от одного-единственного бытового приспособления: рычажка на сливном бачке унитаза. В конце дня, перед кофе, я захожу туда. А он уже там: этот унизительный *теплый* запах. Я спускаю штаны и дергаю за волшебный рычажок. И вот оно здесь, вместе с туалетной бумагой, которую я после использо-

вания аккуратно сматываю в рулончик. Потом натягиваю штаны и жду, когда утихнет боль. Боль, вероятно, от всей этой процедуры, от зависимости в целом. Ничего удивительного, что мы при этом плачем. Мимолетный взгляд на чистую воду в унитазе. Не знаю, мне такое существование кажется адом. А потом две чашки кофе без кофеина — и на боковую.

Есть — тоже довольно неприглядно. Сперва я складываю чистые тарелки в посудомоечную машину, работающую, по-моему, прекрасно, как и все прочие кухонные приспособления, до появления какого-то жирного ублюдка в комбинезоне, который портит их своими инструментами. Но пока что все в порядке; затем берем грязную тарелку, собираем туда остатки пищи из мусорного ведра и усаживаемся ждать. В рот начинает отрыгиваться всякая всячина, и после искусной обработки языком и зубами я переправляю результат на тарелку для окончательной рихтовки ножом, вилкой и ложкой. Это, по крайней мере, имеет хоть какой-то терапевтический эффект, если только речь не о супе или еще чем-нибудь жидком, вот уж настоящее наказание. Затем следует утомительная процедура замораживания, разборки и раскладывания по полкам, пока не

придет пора отнести эти продукты в «Гастроном», где меня ждет, надо полагать, быстрое и щедрое вознаграждение за труды. Там я таскаюсь по проходам с тележкой или корзинкой, расставляя банки и пакеты по их законным местам.

Что еще не на шутку расстраивает меня в этой жизни, так это чтение. Каждый вечер я выволакиваю себя из постели, чтобы начать день — и с чего? Не с книги. И даже не с «Газеты». Нет. Два-три часа с брехучим таблоидом. Я начинаю с конца столбца и медленно подымаюсь по странице до самого верха, где каждая история нравоучительно подытожена шрифтом дюймового размера. МУЖЧИНА РОДИЛ СОБАКУ. СТАРЛЕТКУ ИЗНАСИЛОВАЛ ПТЕРОДАКТИЛЬ. Грета Гарбо, читаю я, в следующей жизни родилась кошкой. Всякий вздор о *близнецах*. В скором времени из облаков космического льда опустится нордическая сверхраса, они будут править миром тысячу лет. Всякая чушь про *Атлантиду*. Кажется вполне уместным, что чтиво мне доставляют мусорщики. Я нахожу добычу в мешках, которые словно сами собой извергаются чудовищными механическими челюстями, смрадными глотками трудолюбивых монстров-мусоросборщиков. И вот я сижу, побулькивая в стакан и впитывая весь

этот идиотский хлам. Я не могу этого не делать. Я весь во власти Тода. Что происходит вокруг — в смысле, в мире? Об этом я тоже не могу узнать. Если только взгляд Тода не отвлечется случайно от Быстрого Кроссворда в «Газете». Большую часть времени я безотрывно пялюсь на всякую чепуху вроде: «Противоположность маленькому (семь букв)» или «Не грязный (шесть букв)». В гостиной есть книжный шкаф. За пыльным стеклом видны пыльные корешки, они стоят наготове. Но нет. Вместо этого: ЛЮБОВНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЛУТОНЕ. «Я — ЗА ЗА ГАБОР[3]»-ГОВОРИТ ОБЕЗЬЯНА. СИАМСКИЕ ПЯТЕРНЯШКИ!

С течением лет появились и некоторые плюсы. Эпоха Рейгана, по-моему, чудесно повлияла на настроение Тода.

Физически я в отличной форме. Перестали вечно болеть лодыжки, колени, спина и шея — по крайней мере, они уже не болят все разом. Я стал куда быстрее, чем раньше, добираться до места, например до дальнего угла комнаты. Не успеешь оглянуться, а я уже там. Осанка у нас почти что царственная. Трость я давно уже продал.

Мы с Тодом так здорово себя чувствуем, что

---

[3] Примечания: 3

За За Габор (р. 1917) — голливудская звезда венгерского происхождения.

записались в клуб и занимаемся теннисом. Возможно, поторопились. Потому что — по крайней мере, сперва — у нас из-за этого начала препаскудно болеть спина. Я нахожу, что теннис — довольно дурацкая игра: мохнатый мячик вылетает из сетки или из ограждения корта, и мы вчетвером лупим по нему, пока его не прикарманивает — на мой взгляд, исключительно по собственной прихоти — подающий. Но мы весьма жизнерадостно прыгаем, пыхтим и отдуваемся. Мы пошучиваем и подтруниваем над нашими грыжевыми бандажами и налокотниками. «Пап», — щелкают ракетки. Тод популярен, народ его тут любит. Я не знаю, как Тод к ним относится, вот только железы его сообщают мне, что он прекрасно обошелся бы без повышенного внимания, да и без всякого внимания вообще.

Большую часть времени мы там, в клубе, играем в картишки. В клубе я могу увидеть по телевизору президента. Ага, эти старички, пятнистые старикашки с фруктовыми соками, все они тащатся с президента: как он нахмурился, как ляпнул чего-нибудь, какие у него классные волосы. Тоду в клубе нравится, но есть тут человек, которого он боится и ненавидит. Этого человека зовут Арт — очередной гориллообразный дед

со смертоносным хлопком по спине и голосом тысячелетнего вторжения и владычества. Даже я перепугался, когда это случилось в первый раз. Арт подвалил к нашему столику, отвесил Тоду подзатыльник, чуть не сломав ему шею, и произнес невероятно громко:

— *Слюнки пускаешь.*

— Вот как. Зачем же? — сказал Тод.

Тот пригнулся поближе:

— Всех остальных ты можешь провести, Френдли, но я-то знаю, зачем ты сюда ходишь.

— Ах, это все сплетни.

— Все бегаешь за ними? — проорал Арт и отвалил.

Всякий раз, когда мы пытаемся незаметно прошмыгнуть мимо столика Арта, следует пауза, а вслед за ней густой шепот, слышный по всей комнате: «Тод Френдли: срака шире стульчака». Тоду это не нравится. Вот этот эпизод ему совсем не нравится.

Тем не менее теперь в «Гастрономе» взгляд Тода действительно стал задерживаться на телах здешних фройляйн, толкающих коляски. Лодыжки, верхняя часть бедер, ямки над ключицами, волосы. К тому же выяснилось, что у Тода есть шкатулка с женскими фотографиями. Жизне-

радостные старые бабы в нарядных платьях и коричневых брючных костюмах. Перевязанные ленточками письма, медальоны, любовные безделушки. Дальше в шкатулке, где Тод не часто роется, женщины становятся заметно моложе и запечатлены в шортах и купальниках. Если все это означает то, что я предполагаю, то скорей бы уже. Мне и впрямь не терпится. Не знаю, стоит ли говорить, как утомляет меня компания Тода. Мы всегда и везде вместе. Но жить в таком одиночестве, как он, вредно. Он-то совершенно один. Ведь он не знает о моем присутствии.

Мы все время обзаводимся новыми привычками. Понятное дело, плохими: одиночество все-таки. Тод грешит в одиночку… Он приучился к алкоголю и табаку. С этих пороков начинается его день — стаканчик красного винца, цигарка в задумчивом умиротворении, — но ведь считается, что это очень вредно? А еще вот что. Без особого увлечения, да и без особого успеха, насколько я убедился, мы начали заниматься сексом сами с собой. Это происходит — если получится — сразу после пробуждения. Затем мы кое-как встаем, подбираем с пола одежду, сидим и пускаем слюни в стакан, понуро попыхивая папиросой, и задумчиво пялимся в таблоид со

всяким отвратительным вздором.

Не могу взять в толк — а не мешало бы понимать — добрый ли человек Тод. А если недобрый, то насколько. Он отнимает игрушки у детей на улице. Правда-правда. Ребенок стоит себе возле суетливой мамаши или здоровенного папаши. Подходит Тод. Ребенок, улыбаясь, протягивает ему игрушку, крякающую уточку или что-нибудь в этом роде, Тод берет ее. И пятится назад, гнусно скалясь при этом, что называется, залупившись. Лицо у ребенка становится пустым, он отворачивается, исчезают и улыбка, и игрушка: Тод забирает и то, и другое. Потом он несет игрушку в ближайший магазин сдавать. И ради чего? Ради пары баксов. Можно верить такому типу? Он готов отнять конфету у младенца, если за нее дадут пятьдесят центов. Тод ходит в церковь, все как полагается, по воскресеньям он ковыляет туда в шляпе, в темном костюме, при галстуке. Всепрощающий взгляд, которым на вас смотрят при входе туда, — похоже, Тод испытывает потребность в нем, во всеобщем утешении. Мы усаживаемся рядами и поклоняемся трупу. Но мне совершенно ясно, зачем туда ходит Тод. Господи, какой же он бессовестный. Он всегда берет из чаши очень крупную купюру.

Здесь так странно. Я знаю, что живу на свирепой волшебной планете, которая выделяет и источает дожди или даже мечет удар за ударом золотые стрелы электричества в небосвод со скоростью 186000 миль в секунду; она одним движением тектонических плит может за полчаса воздвигнуть город. Творение… Это легко и быстро. Кроме того, по-видимому, существует Вселенная. Но я не выношу вида звезд, хотя и знаю, что они там и никуда не денутся, и даже вижу их, потому что Тод, как все, смотрит вверх по ночам, водит пальцем и бормочет. Большая Медведица, Сириус, собачья звезда. Для меня звезды — как булавки и иголки, как маршрут грядущего кошмара. Не соединяйте точки… Лишь одну из звезд я могу созерцать без боли. Да и та — планета. Они зовут эту планету вечерней звездой, утренней звездой. Пылкая Венера.

В той черной шкатулке у Тода — я же знаю — любовные письма. Я велю себе набраться терпения. Между тем иногда я складываю, небрежно запечатываю, а затем отправляю письма, написанные не мной. Тод создает их из огня. Вон там, на каминной решетке. Потом мы плетемся на улицу и бросаем их в наш почтовый ящик, на котором написано: Т. Т. ФРЕНДЛИ. Эти письма

адресованы мне, нам. Пока у нас только один корреспондент. Какой-то парень из Нью-Йорка. Всегда одна и та же роспись внизу страницы. Да и письмо, если уж на то пошло, всегда одно и то же. Он пишет: «Дорогой Тод Френдли! Я надеюсь, Вы в добром здравии. Погода здесь по-прежнему устойчивая! С наилучшими пожеланиями. Искренне Ваш…». Такие письма приходят раз в год, примерно в середине лета. Мне они быстро наскучили своим вкрадчивым однообразием. Но Тод испытывает совсем иные чувства. Ночи напролет перед приходом письма его организм свидетельствует о настороженном страхе и трусливом облегчении.

Что я люблю, так это смотреть на Луну. Ее лицо в это время месяца по-особому малодушно и бесхарактерно, как изгнанная и униженная душа Земли.

ГЛАВА 2
Из жалости жестоким надо быть[4]

Приобретения следовали одно за другим. Новый дом. Карьера. Автомобиль. И любовная жизнь. За всеми этими делами и событиями мне с трудом удавалось выкроить минутку для себя самого.

Переезд был операцией симметричной до совершенства, элегантной и незамутненной. Пришли рослые мужики и погрузили все мое имущество в свой пикап. Я поехал с ними в кабине (мы травили анекдоты) на новое место. В большой город. По Шестому шоссе, к югу от реки, над путями, за складами с их ржавыми ребрами, подагрическими подвязками, коррегирующими корсетами. Новые владения оказались меньше тех, к которым мы привыкли: две комнаты вверху, две внизу, террасами, и маленький дворик. Я в восторге от нового места, потому что, думаю, мне нужно общаться с разными людьми, нужен милый американский плюрализм, а здесь его

---

[4] Примечания: 4

Ср.: «Из жалости я должен быть жесток» (У. Шекспир. Гамлет. Акт III, сц. 4. Перевод М. Лозинского).

навалом. Но у Тода чувства противоречивые. Он в смятении. Точно говорю. Например, в день переезда, когда мужики еще сновали вокруг с ящиками и коробками, Тод прошмыгнул в сад — тот самый сад, в котором работал так много лет. Он опустился на колени, жадно вдохнул полной грудью… Там было по-своему прекрасно. На сухой траве, как росинки, собирались капли влаги и взмывали в воздух, словно подбрасываемые вдохами нашей груди. Влага нежно орошала наши щеки, покуда мы, моргая, не собирали ее глазами. Так переживать. С чего бы? Тогда я решил, что он плакал по саду, над тем, что он с ним сотворил. В самом начале сад казался раем, но за несколько лет… Ей-богу, я тут ни при чем. Я не принимал такого решения. Я вообще ничего не решаю. Так что слезы Тода были слезами искупления, слезами раскаяния. В том, что он сделал. Взгляните. Кошмар увядания и запустения, плесень и грибок. Он кропотливо высушил и сокрушил все тюльпаны и розы, а потом запечатал их эксгумированные трупики в бумажный пакет и отнес в магазин, чтобы продать. Всякие сорняки и крапиву он повтыкал в землю — и земля принимала в себя это безобразие, схватывая их цепким рывком. Вот они, плоды методического Тодова вандализма.

Его друзья — тля, белокрылка, пилильщики. И слепни. Он прямо-таки сзывает их к себе налицо плавным похлопыванием запястья. Мускулистые слепни улетают и возвращаются; они садятся, потирая лапками в злобном предвкушении. Разруха — это трудно. Разруха — дело не скорое.

А вот созидание, как я уже говорил, проблемы не составляет. Как в случае с машиной, например. Едва устроившись на новом месте, мы явились в этот гаражик или кладбище автомобилей несколькими кварталами южнее. Я бы назвал это место «сделки-через-дырку-в-заборе». Но заборов, в которых можно было бы проделать дыру, здесь нет. Здания в этом районе словно на коленях стоят. Такие уж они, современные города. Поработать в них в охотку еще можно. Но жить здесь — кому это надо. Смысл и содержание — все хранится в престижных районах, в бороздчатых опорах небоскребов. Так вот, машина вроде попалась хорошая. Машина как машина. Но Тод смотрел на нее с волнением, в приступе глупой — как бы это сказать — упертой любви. Вскоре, вытирая масляными пальцами промасленную тряпку, показался хозяин гаража. Потом Тод вдруг дал ему восемьсот баксов. Мужчина пересчитал деньги, и они немножко поспорили: Тод говорил

девятьсот, а мужчина говорил семьсот, потом мужчина стал говорить шестьсот, а Тод поднял до тысячи, и так далее. Оставшись один у машины, Тод провел пальцами по кузову. Что он искал? Паутина царапин. Травма… Помнится, тем утром Тод был не в духе. Днем он присутствовал на похоронах. Или просто случайно стал свидетелем церемонии, причем старался держаться позади на пустынном погосте, где могилы вровень с землей. Перекрестившись, он поспешно удалился. Мы возвращались на автобусе, а автобусы едут бесконечно долго, и в них полно пьяниц и плачущих детей… Машины — это класс. *Автомобили*. Каждый день мы наведывались в гараж, и с каждым днем наша машина выглядела все плачевнее. Восемьсот долларов? Они и впрямь крутились вокруг нее, чумазые обезьяны с молотками и гаечными ключами, терпеливо творя нудную и долгую разруху.

Надо ли говорить, что к тому моменту, когда мы пришли забрать ее (в город, куда же еще), машина была просто убита. Мы тоже находились не в лучшей форме. Сделке предшествовала неприятнейшая процедура. Больница. Вот именно. Посещение травмпункта. Дорогу туда мы отыскали самостоятельно (все же Тод как-то знает

этот город задом наперед) и, слава богу, пробыли там недолго. Делаешь что положено: снимаешь рубашку, тебя простукивают и колют, но ты головы не поднимаешь, не желая знать, чем они там занимаются. В таком месте рот раскрывать не следует. Не наше дело. В конце концов санитары отвезли меня в город к месту происшествия. Там стояла моя машина, как обезумевший старый припадочный кабан: рыло и клыки разбиты, аж пар идет. И сам я чувствовал себя разбитым, когда полицейский помог мне втиснуться на водительское сиденье и стал пытаться запереть покореженную дверцу. Потом уже я махнул рукой: пусть Тод во всем разбирается. Вокруг нас собрались зеваки и принялись вовсю пялиться, а Тод какое-то время тупо смотрел на них в ответ. Но потом овладел ситуацией. Он изо всех сил надавил на тормоз, и машина конвульсивно затряслась и заржала. Одним мастерским ударом он починил покореженный гидрант у обочины — и мы стремглав попятились, влились задним ходом в транспортный поток. Другие машины завизжали от нашего неожиданного пробуждения и заполнения пустоты.

Несколько минут спустя — первая любовная интрижка. Просто совпадение. Мы приехали

домой, Тод нажал акселератор, и машина встала как вкопанная. Он не остановился полюбоваться автомобилем (тот смотрелся как новенький: класс!), а поспешил в дом, избавился от пальто и, тяжело дыша, рванулся к телефону.

Я постарался сосредоточиться. Думаю, что уловил почти все. Разговор получился такой:

— Прощай, Тод.

— Подожди. Не надо ничего делать.

— Кому какое дело? Все и так дерьмо.

— Айрин, — сказал он.

— Да, Тод, я это сделаю. Я ведь теперь просто старая страшная старуха. Как это произошло?

— Ты не сделаешь этого.

— Нет. Я покончу с собой.

— Ты не сделаешь этого.

— Я хочу позвонить в «Нью-Йорк Таймс».

— Айрин, — произнес он с вспышкой гнева в голосе. И по всему телу прошел жар.

— Я знаю, что ты поменял имя. Что скажешь? Я знаю, что ты в бегах.

— Ты ничего не знаешь.

— Я собираюсь донести на тебя.

— Вот как?

— Ты проговорился ночью. Во сне.

— Айрин.

— Я узнала твою тайну.

— Что?

— Я хочу тебе кое-что сказать.

— Айрин, ты пьяна.

— Кусок говна.

— Да? — скучным голосом отозвался Тод и бросил трубку.

Он стал слушать сигнал телефона — его настойчивый зуммер. Потом он слушал тишину. Эмоциональное состояние Тода было ясным и безоблачным… Что ж, подумал я, теперь дела могут пойти только на лад. Мне хотелось, чтобы Тод отыскал ту свою черную шкатулку, чтобы я мог как следует рассмотреть эту Айрин. Но он, конечно, не стал искать. Куда уж.

Может, с любовью будет как с вождением. «Отъездился, папаша?» Так сказал механик в промасленной спецовке. Так сказал и больничный санитар в хрустком белом халате. Но они ошиблись. Наоборот, мы только начали водить. Наверное, Тод сильно тоскует по старому дому в Уэллпорте, потому что чаше всего ездит именно туда. Он приберег ключ. Мы заходим в дом и бродим по комнатам. Дом совершенно опустел. Он делает замеры. Мерит все очень обстоятельно, с чувством. Потом мы начали осматривать

и другие квартиры в районе Уэллпорта. Но ни одну из них нет смысла даже измерять, не то что наш старый дом. Тод медленно возвращается на Шестое шоссе.

Мы стали находить в мусорном ведре любовные письма от Айрин. Он просматривает их, склонив голову, и складывает куда-то в ящик стола. Может, с любовью будет как с вождением. Когда люди ходят — и когда едут тоже, — они смотрят в ту сторону, откуда движутся, а не туда, куда направляются. Не так ли они поступают во всем? Тогда с любовью будет как с вождением машины, которое, на первый взгляд, смотрится довольно абсурдно. Например, у коробки передач пять задних скоростей и только одна передняя, обозначенная буквой «R» — «реверс». Когда мы едем, мы не глядим, куда направляемся. Смотрим туда, откуда движемся. Естественно, бывают аварии, но в целом все-таки система работает. Через весь город струится и переливается эта симфония доверия.

Моя работа… И говорить о ней не хочется. Вы же не захотите про нее слушать. Как-то вечером я выбрался из постели и поехал — очень неуверенно — в какой-то офис. Там на вечеринку собрались все мои новые коллеги. В шесть часов я вошел

в кабинет с моим именем на дверной табличке, надел белый халат и принялся за работу. И кем же я стал? Врачом!

Жизнь все убыстряется, я хожу среди горожан, в городской обстановке, среди городского металла и метила, жульничества, подножек и палок в колеса. Большой город — а есть города и побольше этого (Нью-Йорк, например, где, как нам пишут, держится устойчивая погода) — воздействует на людей, которые в нем живут. И сильнее всего, наверное, на тех людей, которые не должны жить в городе. Не теперь. Они не те люди, они не на своем месте и не в своем времени. Айрин не место в городе. Тод же, в каком-то смысле, здесь как дома. Он перестал выезжать в Уэллпорт, но скучает по тем временам, по тому безопасному и безучастному бессилию, когда он носил униформу старческой пассивности. Старики ведь не жестоки, правда. Не ищите жестокости в старых и немощных. У жестокости ясные глазки и розовый язычок…

Это не просто город. Это старые кварталы. Несмотря на свой вновь обретенный профессиональный статус, Тод живет среди низших слоев общества. Низкий, старый — в чем выражаются эти свойства? Господи, как вообще возникают

города? Можно лишь смутно вообразить чудовищные потуги их окончательного уничтожения (столетия спустя, уже после моей жизни) и появление на их месте чудесной земли — зеленой, обетованной. Но я страшно рад, что не присутствовал при появлении города. Он, должно быть, не просто возник, а косолапо ввалился ниоткуда. Из торного безмолвия, в клубах пыли и пара. Мои коллеги по работе благоразумно и здраво предпочитают селиться на Горе или в восточных пригородах, ближе к океану. Но Тод Френдли, наверное, испытывает потребность в городе, где он всегда может слиться с толпой, где никогда не бывает один.

Как продвигается моя карьера? Однажды, примерно с месяц назад, Тод проснулся ночью в необычайно жутком состоянии, наполовину одетый, и все вокруг безобразно кружилось, как если бы спальня крепилась к ослабшему вороту в кишках, где стонет его тайна. Я подумал: неудивительно, что мне было так погано вчера. Вчерашние дни всегда ужасны, если по утрам Тод сосет чай как ненормальный. А затем он поднялся и сделал нечто… *значительное*, мягко выражаясь. Мы направились в гостиную, схватили медные часы, которые всегда украшали полку

у нас над камином (ну до чего у него сильные руки!), и яростно завернули их в яркую оберточную бумагу, которую нашли в мусоре. Секунду-другую Тод стоял, уставившись на циферблат, потом, с болезненной улыбкой, в зеркало. Комната все кружилась. Против часовой стрелки. Мы отправились на машине на вечеринку в АМС, то есть Ассоциацию медицинской службы на Шестом шоссе. Тод мимоходом всучил наши часы одной из медсестер, малышке Морин. Малышка Морин немножко волновалась, однако произнесла дивную речь. Маленькая Морин, лицо которой так волнует меня, светловолосая, веснушчатая, трогательно-нордическая, с большим или слишком выдающимся ртом, выражающим одну лишь беспомощность. Беспомощность и безнадежность, и то и другое одновременно.

Конечно, нельзя сказать, что профессия врача явилась для меня полной неожиданностью. За короткий срок наш домик наполнился медицинскими атрибутами, всяким врачебным оборудованием. Книги по анатомии, возникшие из костра на заднем дворе. Блоки рецептурных бланков. Пластмассовый череп. Однажды Тод вытащил из мусорки сертификат в рамочке и повесил его на двери в туалет. Несколько минут

он с любопытством рассматривал вычурный шрифт. Конечно, всякий раз, когда такое бывает, я получаю настоящее удовольствие, потому что буквы складываются в ясные осмысленные слова, хоть Тод и читает их задом наперед.

Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигиеей и Панакеей и всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению, следующую присягу и письменное обязательство… Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство… В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всего намеренного, неправедного и пагубного…

Тод от души посмеялся над этим… Помимо прочего, из чулана вынырнул характерный черный портфель. Внутри него — мир боли.

Маленький стадион боли с темнотой на дне чаши.

Айрин теперь звонит Тоду регулярно. Думаю, это хорошо, что мы изучаем друг друга постепенно — сначала надо привыкнуть. Она спокойна и (обычно) трезва: Тод относится к этим звонкам как к одной из своих многочисленных обязанностей, усаживается для разговора смиренно, потягивая виски и покорно попыхивая папиро-

сой. Айрин говорит, что ей грустно. Ей одиноко. Говорит, что все меньше и меньше винит Тода за то, что несчастна. Говорит, что знает, что он ублюдок, и не может понять, за что она его любит… Я тоже не понимаю. Но любовь — странная штука. Любовь не понять. Иногда Айрин обсуждает — надо отметить, довольно спокойно — возможность самоубийства. Тод предостерегает ее, что такие речи греховны. Лично я полагаю, что *самоубийство* можно отбросить как пустую угрозу. Я размышлял об этом. Самоубийство — не выбор, правда же. Не в этом мире. Раз уж вы здесь, раз уж взошли на борт, сойти вы не можете. Вам не выбраться.

Она сдержанно рыдает. Тед помалкивает. Она просит прошения. Он просит прошения. Вот такие дела.

Я надеюсь, в конце концов они помирятся.

Работу врача я научился стоически терпеть. Да и как я мог возразить. Я тут не командую. Не я главный мужчина в доме. Так что, очевидно, стоицизм — моя единственная надежда. Мы с Тодом, похоже, отлично знаем свое дело, пока что никто не жаловался. И пока что нас не заставляют заниматься теми чудовищными делами, которыми тут занимаются, — а тут порой такое творят, что

вы просто не поверите. Удивительно, но Тод здесь славится своей впечатлительностью, над которой все постоянно подтрунивают. Удивительно, так как я-то знаю, что Тод не впечатлительный. Это я впечатлительный. Я слабонервный. А Тод запросто все выдерживает. Он спокоен, отрешен, бестрепетно реагирует на здешнюю повседневность, ночные дежурства, запах деформированной человеческой плоти. Тод может все это выдержать — для меня же это пытка. Для меня работа — восьмичасовой приступ паники. Можете представить себе, как я, скорчившись там внутри, потихоньку блюю, пытаясь отвести взгляд… Хотелось бы затронуть труднейший вопрос: проблему насилия. Умом я почти готов признать, что насилие приносит пользу, насилие — это хорошо. Но внутренне я не могу принять его омерзительности. По-моему, я всегда таким был, еще в Уэллпорте. Зашедшийся от плача ребенок, успокоенный крепким отцовским шлепком, мертвый муравей, оживленный давлением подметки беззаботного прохожего, пораненный палец, залеченный и заживленный лезвием ножа: я от такого всегда вздрагивал и отворачивался. Но тело, в котором я живу и передвигаюсь, Тодово тело, ничего такого не ощущает.

Судя по всему, мы специализируемся на работе с бумагами, геронтологии, расстройствах центральной нервной системы и так называемом *убалтывании*. Я сижу у себя в белом халате, с молоточком, камертонами, фонариком, ларингоскопом, булавками и иголками. Мои пациенты даже старше меня. Надо сказать, обычно они выглядят довольно жизнерадостно, когда приходят. Они оборачиваются, садятся и бодро кивают. «Хорошо», — говорит Тод. Старикан на это говорит: «Спасибо, доктор» — и вручает ему свой рецепт. Тод берет эту бумагу и проделывает свой фокус с ручкой и блокнотом.

— Я вам кое-что пропишу, — важно произносит Тод. — И вам станет лучше.

Но я-то знаю, что это бессовестная брехня: на самом деле Тод — вот так нагло, напористо, едва успев познакомиться, — собирается засунуть бедняге палец в задницу.

— Скорее страх, — говорит пациент, расстегивая ремень.

— По-моему, вы отлично выглядите, — говорит Тод, — для своего возраста. Вы ощущаете подавленность?

Вслед за процедурой на кушетке (до чего же мерзкое занятие, причем для всех участни-

ков, — стенаем мы в один голос) Тод проделывает следующее, — пальпирует пациенту сонную артерию на шее и височные артерии перед ушами. Потом на запястьях. Затем прикладывает раструб стетоскопа к нижней части его лба, прямо над глазницами.

— Закройте глаза, — говорит Тод пациенту, который, конечно, тут же их открывает. — Возьмите меня за руку. Поднимите левую руку. Хорошо. Расслабьтесь немножко.

За сим следует собственно *убалтывание*, которое обычно проходит так:

Тод: «Может возникнуть паника».

Пациент: «Закричу "пожар"».

Тод: «Что вы сделаете, если пришли в театр и вдруг заметили дым и пламя?»

Пациент: «Сэр?»

Тод замолкает на время.

«Это неправильный ответ. Правильный ответ такой: ни в ком нет совершенства, так что не осуждай других».

«Они побьют стекла», — произносит, нахмурившись, пациент.

«Почему говорят: "Живущие в стеклянном доме не должны швыряться камнями"»?

«Э-э. Семьдесят шесть. Восемьдесят шесть».

«Сколько будет девяносто три минус семь?»

«Тысяча девятьсот четырнадцать — тысяча девятьсот восемнадцать».

«Когда была Первая мировая война?».

«Хорошо», — распрямляясь, говорит пациент.

«Я сейчас задам вам несколько вопросов».

«Нет».

«Спите хорошо? Проблемы с пищеварением имеются?»

«В январе будет восемьдесят один».

«А вам… э-э?»

«Самочувствие неважное».

«Итак, на что жалуемся?»

Вот и все. Конечно, уходя, они выглядят уже не так жизнерадостно. Они пятятся от меня прочь, вытаращив глаза. И исчезают. Задерживаются лишь для того, чтобы противно так, тихонько и боязливо постучать в дверь. Но, в общем-то, можно сказать, что я не причиняю этим старичкам серьезного вреда. В отличие от почти всех остальных пациентов АМС, они уходят отсюда в не намного худшем состоянии, чем приходят.

Врачи, конечно, занимают страшно высокое положение в обществе. Когда ты, врач, идешь вот так в белом халате с черным портфелем сквозь толпу, остальные смотрят на тебя снизу вверх.

Лучше всего это получается у матерей: они прямо-таки всем видом выражают, что у тебя есть власть над их детьми; раз ты врач, ты можешь не заниматься ими вовсе, можешь забрать их, а можешь вернуть, если пожелаешь. Да уж, мы знаем себе цену. Мы, врачи. В нашем присутствии прочие становятся сдержаннее и серьезнее. Уклончивые взгляды окружающих придают врачу его героический вид, его мрачноватый ореол. Солдат биологии. А во имя чего?.. Единственное, что поддерживает меня и помогает все это пережить, не считая разговоров с Айрин, — это то, что я и Тод чертовски хорошо себя чувствуем в плане физическом. Не понимаю, почему бы Тоду не испытывать побольше благодарности за это улучшение. Когда я вспоминаю, каково было в Уэллпорте, ох… ходить мы еще ходили, но кое-как. Нам требовалось двадцать пять минут, чтобы пересечь комнату. Теперь мы можем нагибаться — почти не кряхтя, разве что иногда в колене хрустнет. Мы поднимаемся и спускаемся по лестнице — ого, вот это скорость! Иногда мы получаем обратно запасные кусочки нашего тела из мусорки. То зуб, то ноготь. Лишние волосы. Тяжкое состояние рассеянности и легкой тошноты, которое я принимал за неотъемлемый

атрибут бытия, оказалось преходящим. А порой бывает, даже несколько минут подряд (особенно лежа), что вообще ничего не болит.

Тод не ценит эти улучшения. А если и ценит, то довольно спокойно. В целом. Но только вот что. Знаете, то интимное занятие, которым мы начали так вяло заниматься в Уэллпорте, сами с собой?.. Тод теперь занимается им гораздо усерднее. Видимо, в ознаменование своей нарастающей мужской силы — или в качестве тренировки. Но мне и без того ясно, что, пусть худо-бедно, все же мы развиваемся… Тод? Не знаю. Тебе как? Нормально? А по-моему, пока еще полная лажа.

Его сны заполнены образами, которые кружатся на ветру, как листья, они полны душ, образующих созвездия, которые мне больно видеть. Тод ведет долгие споры, и он говорит правду, но невидимые люди, которые могли бы услышать его и вынести решение в его пользу, отказываются ему верить и молча, с усталой гадливостью, отворачиваются. Зачастую он безропотно позволяет калечить себя угрюмым олдерменам, тягостно тучным лорд-мэрам, затюканным железнодорожным носильщикам. А порой лучится неодолимой силой, которой нет преград, — силой, заимствованной у творца-покровителя, что повелевает его снами.

Сутенеры и «ночные бабочки»…

Удивляюсь я местной экономике, коммерции, защитным механизмам равнодушного, кондиционированного города. А поводов у меня для этого полным-полно — в смысле, для недоумения. Сказать по правде, мне многое непонятно. Вообще, надо признаться, я довольно-таки сильно притормаживаю. Может быть, даже до легкого аутизма. Вполне возможно, причина в том, что мне, как говорится, сдают не из полной колоды, то есть в банальной нехватке шариков. Карты мне ничего не говорят, мир остается бессмысленным. Безусловным является факт, что я каким-то образом сопряжен с Тодом, но он не должен знать о моем существовании. А мне одиноко… Тод Френдли, солидный, мягчительный Тод Френдли бродит по городскому дну, посещает всякие приюты, ночлежки, кризисные центры, гостиницы для бывших заключенных. Но он не относится к числу тех твердолобых зануд, которым по глубоко личным и крайне насущным причинам приспичило надзирать за этими таинственными учреждениями, где злоупотребление — ключевое слово. Он приходит и уходит. Он предлагает, указывает и советует. Он — один из коммивояжеров несчастья. Ведь здешняя публика — это наркома-

ны, сутенеры, неблагополучные семьи, бомжи.

Путаны охотятся на зрелых мужчин. Именно так. Их редко увидишь со сверстниками. Клиенты осторожно пятятся в специальные комнаты, арендованные на короткий срок апартаменты в доме на улице Герреры, словно смакующем свой страх и сырость. Совершается любовный акт, за который клиент, или *лох*, как его еще называют, тут же получает щедрое вознаграждение. Затем парочка выходит обратно на улицу и расстается. Мужчины шаркают прочь с виноватым видом (еще бы, заниматься этим за деньги), а ненасытная путана остается на тротуаре, в блузке на бретельках и шортиках, коротать время до следующего ухажера. Или еще — захватывающие поездки в никуда со всякими старыми хрычами, которые колесят по кварталу на своих шикарных старых автомобилях. Тод частенько появляется в обители шлюх. Он пожилой горожанин, и девочки всякий раз устремляются к нему. Но Тод здесь не секса и денег ради. Напротив. Он сам раскошеливается (чисто символические суммы, несколько баксов) и штанов никогда не снимает (на девочек он даже не смотрит: они не такие). В принципе, похоже, что Тод прикупает здесь препараты. Не для личного употребления:

тетрациклин, метадон — все это поступает в фармацевтический отдел АМС. А кроме того, здесь, на улице Герреры, среди скомканных простыней и грязных биде, бывает спрос на физические увечья.

Весь сброд в ночлежках жрет одно и то же. Не то что в ресторане или в АМСовском буфете. Я думаю, это нехорошо, когда все едят одно и то же. Конечно, ни у кого из нас нет выбора, чем именно питаться, ведь все берется из канализации, а у одних пищеварение явно лучше, чем у других. Но мне становится дурно, когда я вижу, как они достают из себя ложками и заполняют тарелки — двадцать или тридцать человек — все одним и тем же… В кризисных центрах и убежищах женщины сплошь прячутся от своих спасителей. Кризисный центр просто так кризисным центром не назовут. Если вам нужен кризис, просто запишитесь. Рубцы, ссадины, синяки под глазами становятся ярче, наливаются цветом, пока женщинам не приходит пора возвращаться, в экстазе страдания, к мужчинам, которые излечат их одним взмахом руки. Некоторые нуждаются в специализированном лечении. Они удаляются шаткой походкой и лежат в парке, или в подвале, или еще где-нибудь, пока не появятся мужчины

и не изнасилуют их, и тогда они снова в порядке. «Вот ведь, блин, — говорит мерзкого вида санитар Брэд, — да с ними не приключилось ничего такого (это он про женщин в приюте), чего нельзя вылечить шестидюймовым молодцем». Тод сердито хмурится в ответ. Я тоже терпеть не могу Брэда, и все же, хоть мне неприятно это признавать, порой он бывает абсолютно прав. Что это за мироустройство, если такой тип, как Брэд, может оказаться прав хоть в чем-то?

Я не во всем согласен с Тодом. Далеко не во всем. Например, Тод очень плохо относится к сутенерам. А сутенеры — это выдающиеся личности, которые помимо всего прочего придают городскому пейзажу такой колорит своими стильными одеждами и машинами. Где были бы несчастные девочки без своих сутенеров, которые осыпают их деньгами и ничего не просят взамен? Совсем не то что Тод с его милосердием. Он-то ходит туда втирать грязь в их раны. И торопливо пятится, пока не показался трудяга сутенер и не поднял ее на ноги своими унизанными перстнями кулачищами. Пока он трудится, младенец в колыбели возле койки перестает плакать и засыпает ангельским сном, успокоенный сознанием того, что пришел сутенер.

Айрин все так же регулярно названивает, но мне не следует давать волю своим упованиям. Я думал, что она потихоньку идет на сближение. Ан нет. Она вновь мстительно восстала против нас. С чего, я не знаю. Может, мы что-нибудь не так сказали?

Но то, как Тод смотрит на женщин на улице, уже внушает некоторый оптимизм. Теперь его взор устремляется именно туда, куда я хочу посмотреть. Наши императивы и приоритеты отнюдь не полностью совпадают, но они, во всяком случае, пересекаются. Нам нравятся женщины одного типа — женственные. Сперва Тод смотрит на лицо, потом на грудь, потом на низ живота. Если он смотрит со спины, то последовательность такая: волосы, талия, крестец. Судя по всему, ногами ни он, ни я особо не интересуемся, но мне кажется, не мешало бы рассматривать их чуть повнимательней. Еще меня беспокоит то, в каком соотношении Тод уделяет внимание каждой части. Он слишком бегло осматривает лицо. Один-единственный беглый взгляд сверху вниз. А мне бы хотелось задержаться на лице подольше. Может быть, этикет не позволяет. И все же я немного воспрянул духом. Да и голова уже не кружится так, как раньше, когда я пытался

рассмотреть вещи, на которые он не смотрит, увидеть то, чего он не видит.

Возможно, под влиянием садово-огородных работ наши уединенные занятия сексом в последнее время до неузнаваемости оживились. Недостающий компонент, дополнительное вещество отыскивается, конечно, в туалете. Или в мусорном ведре.

Где бы мы с Тодом были без туалета? Где бы мы были без всего этого мусора?

По вечерам матери приносят Тоду своих младенцев. Тод не поощряет этого — но он ведь такой жалостливый. Женщины расплачиваются с ним антибиотиками, от которых частенько, бывает, ребенок и мучается. Из жалости жестоким надо быть. Малышам не лучше, когда их уносят, всю дорогу они старательно ревут. А мамаши совершенно расклеиваются: они уходят отсюда *рыдая*. Это можно понять. Я понимаю. Я знаю, как исчезают люди. Куда они исчезают? Не спрашивайте. Никогда не задавайте этот вопрос. Это не ваше дело. Маленькие ребятишки на улицах все уменьшаются и уменьшаются. В какой-то момент появляется необходимость усаживать их в коляску, потом носить в рюкзачке на спине. А еще их держат в руках и тихонько успокаивают

— конечно, им ведь так тоскливо уходить. В последние месяцы они больше всего плачут. И уже больше не улыбаются. Потом мамаши отправляются в больницу. Куда же еще? В ту комнату входят двое, в ту самую комнату, с хирургическими щипцами и испачканным фартуком. Входят двое. А выходит только одна. О, бедные матери! Видите, каково им приходится во время долгого прощания, долгого прощания с детьми.

Ну, наконец-то.

Теперь, когда это наконец началось, во мне бушует сильнейшее негодование. Почему Тод так попусту растрачивал мою жизнь? Накануне вечером мир разверзся и обнажил свою глубину и цвет. И душа тоже раскрылась. Мы — не двухмерные существа, у нас есть объем и глубина, с извивающимися в ней водорослями и придонными рыбами. Я так понимаю, что и все вокруг такие же, трогательно — нет, душещипательно — ранимые. Нам негде укрыться.

Любовь застала меня не совсем врасплох — меня честно предупредили. О приближении любви возвестила целая пачка новых любовных писем. Это не были письма от Айрин. Это были письма к Айрин. Написанные Тодом. Его ровным приземистым почерком. Они появились, конечно,

из мусорки, из внутренностей десятигаллонного пластикового мешка. Тод пошел в гостиную и, присев, положил перевязанную красной ленточкой пачку себе на колени. Достал свою черную шкатулку. Посидев так, он вынул наугад одно письмо из середины пачки и уставился в него невидящим, расфокусированным взглядом. Вот что я смог разобрать:

Моя дорогая Айрин!

Еще раз спасибо за подушечки. Мне они действительно понравились. Они согревают комнату и делают ее «уютнее»… совершенно угробить. После яичницы лучше заливать сковородку холодной водой, а не горячей… Тебе не следует особенно беспокоиться по поводу вен. Пигментации нет. Отеков тоже. Помни, ты мне нравишься такая, какая ты есть… Я, как всегда, с нетерпением буду ждать встречи с тобой во вторник, но, может быть, удобнее было бы в пятницу…

Тод решительно повернулся к своей шкатулке. Фотография, которую он искал, была вся смята и изломана, но он быстро расправил ее, стиснув в кулаке. Да-а, подумал я. Так вот она какая. Не весенний цыпленок. А большущая старая клушка. Улыбается, одета в коричневый брючный костюм.

Уходя в тот вечер на работу, Тод оставил письма у порога, упаковав в белую картонку из-под обуви, на которой кто-то — по-видимому, Айрин — вывел: «Черт с тобой». Это не очень-то походило на добрый знак. Но ведь и письмо Тода, по-моему, тоже было не очень-то вдохновляющим.

Через пару ночей он проснулся в предрассветный час, дрожа от озноба. «Акус-с», — простонал он. В последнее время он иногда так постанывал: Акус, Акус. Я подумал было, может, это кашель, или сдавленная отрыжка, или просто какая-нибудь новая некрасивая причуда. Потом я уловил, что же именно произносит наш Тод. Он слез с кровати и открыл окно. И началось. Волнами, едва уловимыми порывами комната стала наполняться теплом и запахом другого существа. Самое удивительное — сигаретным дымом! — а насчет сигарет у Тода особый пунктик, невзирая на все эти его периодические папироски. Что-то пахнущее сдобой и конфетами, что-то сладковатое и старое.

То были запахи, которые она посылала через весь город… Тод неторопливо выбрался из пижамы и надел свой ворсистый халат. Потом он с неловким видом измял постель. А еще он приготовил сигарет, по крайней мере ей, наполнив

блюдце окурками и пеплом. Мы закрыли окно, спустились вниз и стали ждать.

Выйти вот так, в шлепанцах, во двор и стоять на мокрой дорожке было признаком хорошей формы и — осмелюсь предположить — для Тода довольно романтично. Хотя настроение у него на том этапе, надо признаться, больше всего напоминало утомленное разочарование. Очень скоро мы услышали ее машину, скользкий звук ее приближения, и увидели пару красных огоньков в конце улицы. Она припарковалась, с грохотом открыла дверцу машины и вылезла. Я был немного ошеломлен, когда она двинулась через дорогу *лицом вперед*, покачивая головой скорбно или отрицательно. Действительно, большая старая баба. Айрин. Да уж.

— Тод? — сказала она. — Ну вот. Теперь ты рад?

С радостью или без оной Тод провел ее в парадное, держась впереди. Она сдернула пальто, пока Тод взбирался вверх, а потом, топоча, последовала за ним. Признаюсь, я был обескуражен. Мне было больно. Потому что у меня это было в первый раз. Называйте меня дураком, называйте мечтателем — но я-то надеялся, что все будет красиво. Так нет же. Мне надо было встретиться с ней в самый неподходящий день. У нее тоже душа

была явно не на месте. Но неужели мы не сможем все уладить? Мы с Тодом отдыхали полулежа на измятой постели, когда Айрин вошла в комнату, прижимая к глазам скомканную бумажную салфетку, и назвала нас куском дерьма.

Затем она принялась раздеваться. О, женщины!

— Айрин, — урезонивал ее Тод. — Айрин, Айрин. Она поспешно, будто наперегонки со временем, разделась; но быстрота ее движений не имела никакого отношения к страсти. Говорила она также очень быстро, и плакала, и качала головой. Большая старая бабка в большом белом свитере, больших белых штанах. Груди ее образовывали могучий выступ, треугольный, аэродинамической формы, державшийся в приподнятом положении чем-то вроде переносной заплечной лебедки со стальным тросом. В сторону полетел панцирь ее корсета. Потом эта большая белая туша иноходью двинулась ко мне. А мне подумалось, что у нее белые *одежды*. О чем она, Айрин, говорила то шепотом, то недоговаривая слов, то заглушая их всхлипами? Вкратце вот о чем: что мужчины либо слишком тупые, либо слишком резкие — середины нет. Слишком тупые или слишком умные. Слишком невинные,

слишком преступные.

— Это глупая шутка, — сказал Тод, когда она повернулась и посмотрела на нас— Ты же знаешь, я это не всерьез.

Казалось, Айрин смягчилась. Она вся осела, опустилась и устроилась рядом, большая и неуклюжая, и моя рука протянулась к белой рыхлой мякоти ее плеча. Потрясающая близость. Никогда, никогда до сей поры… Она нервничала, была напряжена (да и я тоже); но кожа у нее мягкая. Потрогай ее. Она того стоит. Она очень приятная на ощупь.

— Прекрасно, — сказал Тод. — Тогда можешь проваливать.

Слова эти, к счастью, произвели на нее успокаивающее действие, но в голосе все еще звучал испуг, когда она произнесла:

— Обещаю.

— Обещаешь?

— Никогда.

— Не скажешь?

— Но я никому не скажу.

— Ой, какая чушь, — сказал Тод. — И вообще, кто тебе поверит? Ты слишком мало знаешь.

— Иногда я думаю, ты не порываешь со мной по одной-единственной причине. Ты боишься,

что я все расскажу.

Оба замолчали. Айрин придвинулась ближе, и разговор принял другое направление.

— Жизнь, — сказал Тод.

— Что? — спросила Айрин.

— Господи, да какая разница. Все это дерьмо.

— Почему? Потому что я недостойна, да?

— А вот об этом никогда больше не говори.

— Вот так ты относился к жене и ребенку?

— Ну, это еще спорный вопрос, Айрин.

— Только перед друзьями. И семьей. Перед теми, кого любишь.

— У тебя ни перед кем нет обязательств быть здоровой.

— И вредная, — сказала Айрин.

— Тебе действительно так это нужно? Отвратительная привычка.

Тод закашлялся и стал обмахиваться своей толстой правой рукой. Через какое-то время Айрин потушила сигарету и положила ее в пачку. Она со значением повернулась в нашу сторону. Затем последовали примерно десять минут того, что можно было бы назвать прелюдией. Тисканье, стоны, вздохи и все такое. Засим он взгромоздился на нее. И когда она раздвинула ноги, на меня нахлынули мысли и чувства, которых раньше ни-

когда не было. Они были о власти и могуществе.

— О, милый, — сказала она и поцеловала меня в щеку. — Ничего страшного.

— Прости, — сказал Тод. — Мне очень жаль.

В общем, худо-бедно, но они помирились. Потом все пошло гораздо проще. Да, мы оделись и в замечательном настроении спустились вниз перекусить. Там мы посидели за кухонным столом рядышком, размеренно вытягивая из себя ярд за ярдом белое тесто. Потом — опять впервые — отправились, представьте себе, в кино. Да еще и под ручку. У меня было ощущение, что я двигаюсь на цыпочках по незнакомой стране, с женщиной, которую можно трогать — мне позволялось делать все, что угодно, или, во всяком случае, все, что я в состоянии был сделать. Где пределы? Когда мы вошли, прозвучала сирена, как восхищенный посвист, записанный на поцарапанной пластинке… Фильм также прошел замечательно. Сначала я встревожился, когда Айрин принялась плакать, не успели мы занять свои места. Насколько я понимаю, фильм был тяжелый. Сплошь про любовь. Парочка на экране спокойно излучала радость и красоту, казалось, они созданы друг для друга; но после всяких недоразумений и приключений они в конце концов разошлись. К тому времени

Айрин издавала ровное довольное урчание, если только не ухохатывалась. Хохотали все. Кроме Тода. Кроме Тода. Честно говоря, мне тоже было не смешно. Напоследок мы зашли в бар у кинотеатра. Она выпила виски с содовой, Тод — пивка. И хотя Тод побрел домой в поганом настроении (просто абсолютно не в духе), прощание с Айрин было замечательным, теплым и сердечным. Знаю, теперь я буду видеть ее вновь и вновь. Помимо всего Прочего, мы выручили двадцать восемь долларов. Если с попкорном, то тридцать один. Вроде бы и немного, но в наши дни надо быть осмотрительнее, все дешевеет на глазах, и Тод все время хмуро пересчитывает деньги.

Я же просто схожу с ума. Я прямо места себе не нахожу. Всепрощение, которое излучают ее юные голубые глаза, что смотрят в жутком замешательстве с ее лица, такого рыхлого, в ямочках, как потемневшая скомканная тряпка. Ох, люди! Мне кажется, нужно обладать большим мужеством или чем-то еще, чтобы вторгаться в других, внутрь других людей. Мы все думаем, что люди вокруг живут в крепостях, в цитаделях, за крепостными рвами, за отвесными стенами, утыканными шипами и битым стеклом. Но на самом деле мы живем в куда более чахлых сооружениях.

Выясняется, что мы все — времянки. Или даже нет, можно просто просунуть голову в палатку и потом залезть. Если дадут добро.

Словом, не исключено, что бегство возможно. Побег из… из этой непостижимой монады. Что касается ее проникновения в него, то с этим куда сложнее. Она рассказывает о нас кое-что. Но много ли она на самом деле знает? Тод, конечно, как всегда, прекрасный актер. Никак не могу понять, расколется он когда-нибудь или нет.

По-моему, известие про жену и ребенка — это потрясающе. Жену и ребенка, которые у Тода когда-нибудь будут. Но младенцы меня беспокоят. Конечно, мы все знаем, что с малышами хлопот и беспокойства не оберешься. Они очень беспокойные крошки.

Куда они деваются, эти маленькие существа, исчезая: совсем пропадают? Не могу избавиться от предчувствия, что скоро я увижу их в Тодовых снах.

Примерно раз в неделю, по утрам, прежде чем залечь на боковую, в процессе загрязнения и взлохмачивания (мы встрепываем каждую бровь, проводя по ней пальцем против шерсти) у нас с Тодом возникает предчувствие сна, который вот-вот должен прийти; сон собирается с силами

где-то там, по ту сторону. Мы фаталисты. Мы лежим, не выключая лампы, пока блекнет рассвет. На коже выступает блестящий холодный пот — и тут же впитывается. Затем наше сердце уверенно набирает обороты, в ушах начинает шуметь от притока крови. Потом мы забываемся. Когда Тод с размаху бьет по выключателю, мне нужно приготовиться. А потом, с воплем, угрожающим свернуть челюсть, мы оказываемся в темноте. Огромная фигура в белом халате, в черных сапогах, попирающих многие акры. Где-то там, внизу, между его ног, — очередь душ. Если бы у меня хватило сил просто на то, чтобы отвести взгляд. Пожалуйста, не показывайте мне малышей… Откуда этот сон? Он еще не делал этого. Так что сон, должно быть, о том, что наш Тод в конце концов совершит.

Здесь есть такая штука, называется *мода*. Мода предназначена для молодости с ее непостоянством, но мы с Тодом иногда ей подражаем. Например, недавно мы зашли в «секонд-хэнд» и взяли две пары штанов клеш. Я хотел сразу их примерить, но он оставил их висеть в шкафу в спальне, покрываться складками и пузырями по форме его тела, подлаживаться под вычурный изгиб его голени. Потом как-то раз вечером он

натянул их без всяких церемоний. Позже, после работы, я хорошенько рассмотрел эти наши новые штаны, пока Тод стоял перед зеркалом, развязывая пухлый «Виндзор» на галстуке. Ну, в целом, не так уж вызывающе выглядят Тодовы клеши, не то что эти сдвоенные кринолины, какие вскоре стали попадаться на улицах. Но все равно мне они показались абсолютно позорными; эстетическое насилие — вот что это такое. Почтенный гражданин, старый доктор — и с этими пошлыми икрами. Ради бога, куда девались его *ступни*? Тогда, кажется, я понял, что жестокость Тода, его тайна, как-то связана с главной ошибкой насчет человеческого тела. А может быть, мне открылось нечто, связанное со стилем или *характером* его жестокости. Жестокость Тода окажется мерзкой, поганой, сумасшедшей, дебиловатой — расклешенной… Тем не менее клеши вошли в моду, теперь все в таких ходят. Они плывут по улице, как яхты: списанные на берег моряки большого города. Еще, знаете, женские подолы поднялись фута на три. Внезапная открытость и власть женских бедер. Подолы снова уже понемногу начали опускаться, но все-таки это что-то.

Видимо, человеческая жестокость неизменна и

вечна. Меняется лишь стиль. Несколько лет назад педофил назначал свои свидания — так сказать, встречи поколений — по мобильному телефону, прогуливаясь вдоль торговых рядов или сидя за уединенным столиком в «Салатном раздолье» или в «Быстрых десертах». Теперь мобильника не увидишь, проспекты и рестораны стали другими, так что педофилу приходится обделывать свои делишки как-то по-другому, в ином стиле.

Приближается война. Пока небольшая. Несколько раз в барах, оторвавшись от нашего «Будвайзера», «Молсона» или «Миллера», мы видели по телевизору одни и те же кадры: вертолет, похожий на евгенический гибрид меч-рыбы со скатом, жужжа взмывает из океана и грозно усаживается на палубу авианосца, готовый к бою.

У вас может сложиться впечатление, что отсутствие своей воли или по крайней мере своего тела, которое могло бы ей повиноваться, действует расслабляюще. Действительно, от многих административных и исполнительных функций при этом избавляешься. Но все-таки остается желание иметь свою точку зрения, свое особое мнение, желание предложить что-то свое просто из принципа. Только не надо увлекаться. Никогда не надо увлекаться. В малом может и не быть

прекрасного. Но в большом всегда есть придурь.

Не хотелось бы выглядеть зацикленным и зашоренным — так уж и быть, признаю: во многих областях я полный профан, — но могу уверенно заявить, что в принципиальном вопросе человеческих *различий* я опережаю Тода. Тод обладает механизмом восприятия, который управляет его реакциями на все опознаваемые подвиды. Его эмоциональное состояние четко структурировано: один уровень внутренней мобилизации — на испаноязычных, другой — на азиатов, третий — на арабов, четвертый — на индейцев, пятый — на чернокожих, шестой — на евреев. Еще в его распоряжении дополнительный репертуар настороженной враждебности к сутенерам, путанам, наркоманам, сумасшедшим, колченогим, заячьегубым, гомосексуалистам и глубоким старикам. (Кстати, хочу изложить свою точку зрения на гомосексуалистов. Может оказаться к месту. Пидарас — нормальный мужчина, по крайней мере ничего страшного в нем нет — если только он знает, что он пидарас. А вот когда он гомосексуалист, а думает, что нет, — вот тогда возникает недоразумение. Тогда он опасен. То, как Тод относится к мужчинам, к женщинам, к детям, — в этом есть какое-то недоразумение.

Есть опасность. Не поймите меня превратно. Я ни в чем Тода не обвиняю, нет, не то чтобы. Я просто говорю, что было бы меньше путаницы, меньше опасности, если бы он мог трезво поразмыслить, пусть и гипотетически, о собственной гомосексуальности. Вот что я хочу сказать.)

Все эти различия мне пришлось усваивать. Во всяком случае, изначально я ни к кому предвзято не относился (за исключением врачей — и с чего бы это?). Знакомясь с людьми, я рассчитываю получить некий импульс от их внутреннего существа, который сообщает мне, сколько там страха, ненависти, сколько покоя, сколько прощения. Думаю, я отношусь к эмоциональному типу. Вообразите тело, которого у меня нет, представьте себе такую картинку: идеализированный зародыш с преданной улыбкой.

В АМС есть аспирант-японец, приехавший по шестимесячному обмену из Осаки; поначалу довольно общительный, он постепенно становится все более отстраненным и замкнутым. Ему повезло, что он не был тут несколько лет назад, когда мы по-настоящему *ненавидели* японцев. Его зовут Микио, потешный паренек, с тяжким грузом инаковости: светопоглощающие волосы, глубоко упрятанные глазные яблоки, прищур прони-

цательного понимания. Во время обеденного перерыва Микио сидит в буфете АМС, склонившись над книжкой. Я наблюдал за ним издали. Он читает как я — как я читал бы, будь у меня такая возможность. Он перелистывает страницы справа налево. Начинает с начала и заканчивает в конце. Я вижу в этом причудливый, но смысл — и мы с Микио тут решительно в меньшинстве. А как мы двое можем быть правы? Тогда оказались бы не правы так много людей. Вода течет вверх. Она стремится к наивысшему уровню. А вы как думали? Дым опускается вниз. Вещи создаются неистовством огня. Но все в порядке. Гравитация по-прежнему прижимает нас к планете.

Многие коллеги — включая Тода — поддразнивают Микио за это и за многое другое, но он волен поступать по-своему, читать по-своему. Ортодоксальные евреи, я заметил, тоже так читают. Значит, люди свободны, вообще свободны, правда? Да, но свободными они не выглядят. Запрокидываясь, пошатываясь, каркая придушенными голосами, они двигаются задом наперед по словно бы уже пройденным, заранее намеченным маршрутам. О, какое отвращение появляется на лицах у женщин, когда они шагают назад, на порог из-под дождя. Не глядя, куда идут,

люди движутся через что-то заранее обусловленное, вооружившись ложью. Вечно они стремятся отправиться туда, откуда только что явились, или сожалеют, как о содеянном, о том, чего еще не делали. Они здороваются, когда хотят попрощаться. Князья лжи и мусора — сплошь и рядом короли мусора и дерьма. Висят таблички «НЕ СОРИТЬ» — для кого они? Нам бы и в голову такое не пришло. Это делает правительство, по ночам, грузовиками муниципальных служб; или утром уныло проходят с тележками люди в форме, раскидывая мусор для нас и дерьмо для собак.

Боюсь показаться зацикленным на этой теме, но должен сказать, что в плане физическом мы с Тодом теперь чувствуем себя просто великолепно. Жизнь тела не обходится без всяких маленьких унижений. Мы по-прежнему ежеутренне, как все, подставляем задницу сами-знаете-чему — но теперь уже управляемся с этим делом за треть часа. Тод, прими поздравления: как ты какаешь, с каким «какчеством». Я более или менее смирился с перспективой прожить жизнь, мучаясь по полчаса в день. Но теперь мучения укладываются в двадцать минут.

Каждый день я внимательно осматриваю тодовскую внешность перед зеркалом — а он,

кажется, совершенно не замечает улучшений. Так, словно ему не с чем сравнивать. Мне хочется щелкнуть каблуками, сжать кулак: *Йес-с!* Почему люди не становятся счастливее просто от сравнительно хорошего самочувствия? Почему мы не тискаем друг друга все время в объятиях, восклицая: «Как *оно*, а?»

Соответственно, после множества фальстартов, после многих часов барахтанья в хмуром море помех, извинений и промахов мы, Тод и я, наконец-то вставили Айрин. Она проявила бездну такта и не стала никак заострять внимание на этом великом достижении. Тод тоже исполнил свою роль мастерски: всего-то день возни. Но я был в экстазе. Меня просто распирало от гордости. Конечно, я, как обычно, слишком много переживал. Сейчас уже чуть-чуть успокоился. Теперь я просто самодоволен и напыщен. Это любовь. Это жизнь. Трюк, фокус: оказывается, все так просто. Где жизнь, там и любовь. Это же так естественно.

Возвышенная любовь приводит — по крайней мере, мне так кажется (я становлюсь все более осторожным в вопросах причины и следствия) — к возрастанию моей роли в АМС. Я говорю «роли», так как медицина вовлекает вас в некий об-

щекультурный спектакль: жесты, ритмичные взмахи, властные телодвижения. Это в порядке вещей. Обществу это нравится. Я уступил уютную комнатку на задах более пожилому коллеге и теперь кручусь главным образом в смотровых кабинетах. Теперь я занимаюсь не только стариками. Женщинами и детьми тоже. Даже младенцами. Как будто нельзя было обойтись без младенцев. Вообще Тод, по-моему, не так боится их здесь, как дома (дома, в пижаме, устало шаркая шлепанцами). Младенцев приносят или привозят, и они неплохо себя чувствуют, ты смотришь на них и говоришь что-нибудь вроде: «Этот паренек в полном порядке». И каждый раз страшно ошибаешься. Постоянно. Через день-два малыш вернется с покрасневшим ухом или заходясь от крупа. И ты палец о палец не ударишь, чтобы ему помочь. Наверное, главная задача при этом — сохранять достоинство, продолжая заниматься своим делом.

Кроме того, бывают случаи, когда человеческая плоть странным образом сочетается с рукотворным стеклом и металлом. Ну и кровь, конечно, хлещет. Вот тут уж меня действительно рвать тянет, но до настоящих ужасов дело не доходит, потому что, как говорят мои коллеги, наш уро-

вень в медицине и биологии — мелкая штопка и латание: серьезные случаи мы получаем в большой спешке из городских больниц и в свою очередь стараемся как можно быстрее от них избавиться. Так что увечные и искалеченные здесь не задерживаются. Да, мы тут, на Шестом шоссе, в АМС, неплохо устроились. Неудивительно, что люди иногда начинают прямо с жалобы по инстанциям или даже судебной повестки. Что до вызовов на дом, то мы отказываем по телефону, даже не выслушав просьбы, — до того, как в трубке прозвучат материнский страх и детский плач. Мы говорим, что это не наш профиль. Если хотите, чтобы вас изуродовали, загляните к нам сами. Цены у нас доступные. И много времени это не займет.

Как я и опасался, в сновидениях Тода стали появляться младенцы. Нарисовались. Во всяком случае, один. Ничего ужасного там не происходит, и пока что терпеть можно.

Младенцы, естественно, ассоциируются с беззащитностью. Но в этом сне все не так. Во сне младенец обладает невероятной властью. В его полной и безраздельной власти находятся жизнь и смерть его родителей, старших братьев и сестер, бабушек и дедушек, вообще всех собравшихся

в комнате. Их набилось туда человек тридцать, хотя комнатка эта, если это вообще комната, никак не больше Тодовой кухоньки. В комнатке темно. Даже черно. Несмотря на всю свою власть, младенец плачет. Возможно, плачет он именно под этим страшным грузом — от новизны той громадной ответственности, которая приходит с властью. Родители тишайшим шепотом пытаются утешить, угомонить его; в какой-то момент кажется, что им, может, даже придется его задушить. Появляется такое мучительное искушение. Потому что беспредельное владычество младенца связано именно с его голосом. Не с пухлыми кулачками или бесполезными ножками, но со звуками, которые он издает, с его способностью плакать. Родители, как обычно, как все родители, распоряжаются жизнью и смертью младенца. Но тут, в этих исключительных обстоятельствах, в этой странной комнате, младенец властен над ними. И над всеми собравшимися. Числом около тридцати душ.

Тоду при этом достается хуже, чем мне. Я-то не сплю, когда начинается сон. И я не виновен… Болезненный ореол обмана и обвинений — я избавлен от этого. Я знаю: Тод всего лишь смотрит сон. Устраиваюсь, так сказать, поудобней (с

некоторой, надо признаться, опаской) и смотрю ночной фильм, который крутит в голове у Тода его затененное сознание — его будущее. Когда придет пора пережить события, предсказываемые в Тодовых снах (когда выяснится, например, как младенец смог обрести такую власть), тогда, может быть, я приму это ближе к сердцу. Тод же, перед тем как ему снится этот сон, сам рыдает, как малое дитя. В последнее время, бывает, рядом оказывается Айрин, чтобы подготовить его к этому испытанию.

Смотрите, по телевизору — высоко на крыше, на самом краю, заплаканный мужчина в грязной белой рубашке, он держит в руках младенца. Неподалеку от него замер полицейский, весь как взведенная пружина перед неминуемой схваткой или сделкой. Коп говорит в мегафон, что хочет забрать ребенка. По сути, он хочет разоружить заплаканного мужчину в грязно-белой рубашке. У плачущего человека нет оружия. Его оружие — ребенок.

Не так все обстоит в угольно-черной, хоть глаз выколи, комнате, среди молчаливых теней. Я точно знаю. Там младенец вовсе не оружие. Там он больше похож на бомбу.

Как раз когда Тод поставил отношения с Айрин

на прочную основу и сложился некий набор, за который любой здравомыслящий человек готов биться до смерти: ее пунктуальные визиты и нежные телефонные звонки, совместный просмотр кинофильмов и чудесные обеды, мир и покой, прощение, которое дарует ее присутствие, плюс изысканно-вялые занятия любовью, имеющие место, как по расписанию, примерно раз в два месяца, — и вот, достигнув этой стадии, когда, на мой взгляд, мы могли бы осторожно, но твердо побеседовать с ней насчет ее неряшливости, потому что лучше решать такие вопросы открыто, не допуская нагноения и нарывов, вот именно теперь — ни за что не догадаетесь — Тод начал ей изменять. Да-да. С Гейнор.

Как-то воскресным вечером мы поехали в некоторой рассеянности в Роксбери, припарковались там, побродили по улицам, а она уже ждала нас у входной двери, скрестив руки, в голубеньком халате, с выражением неприятного изумления на лице. «Ты старый ублюдок!» — крикнула она. Но мы все равно затеяли с ней разговор. Я не понимал, что происходит, пока мы не зашли в дом. Тод, хотелось мне сказать, не делай этого. Голос совести. Которая говорит шепотом. Ее никто не слышит. Одно за другим — хотя на самом-то деле

последовательность иная. Затем была некоторая пауза — и теперь мы заглядываем к Гейнор регулярно, каждые две недели.

Это называется измена, двурушничество, и не зря ведь называется. Цельность утрачена. С другой стороны, физически, конечно, это кайф, потому что у нашей новой подруги сексуального опыта побольше, чем у Айрин. Этой милашке всего лишь пятьдесят четыре. Однако я расстроен. Честно говоря, я даже шокирован. На прошлой неделе мы встречались еще с одной, с Эльзой. Слава богу, просто пообедали вместе. Разговор шел на повышенных тонах, она обзывала нас всякими ужасными словами. Обломился Тод, решил было я, но что-то подсказывает мне: он еще на что-то надеется. Ну как можно так себя вести? Мне все время кажется, что нас вот-вот арестуют. Будет этому предел?

Для Тодовых желез весь мир вдруг стал женщиной. Даже неприветливый город, промозглый вечер, пелена дождя, грязь, тьма — это женщина. Заветный силуэт мерещится повсюду и посылает сигналы Тодовым железам. Возможно, этот внезапный интерес к женщинам — профессиональный, связанный как-то с его работой в АМС: Тод по-тюремному шмонает растревоженную и

взволнованную женскую плоть. Но эта его новая озабоченность совершенно хаотична, вовсе не избирательна. Расслабившись, мы усаживаемся с чашечкой кофе в кресло перед окном, а потом он вдруг видит какой-то силуэт на другой стороне улицы (что еще там такое?), за забором, сквозь листву, — и вот он вскакивает, наклоняется и пучит глаза, самодовольно вытянув шею и встав на цыпочки.

Зачем? А вдруг там женщина.

Параллаксы складов ползут и колеблются. В город приходит промышленность. Газ подешевел. Все быстро меняется. С улиц исчезли сумасшедшие, мы не спрашиваем, куда они подевались. Никогда не спрашивайте. Лучше совсем не задавать вопросов. Нет больше бродяг и лунатиков… Есть повсеместный добротный альтруизм. У всех теперь есть работа, на сталелитейной фабрике или на автозаводе. Они очищают воздух. Не только убирают хлам и мусор, очищают даже небо и землю, разделывают автомобили, превращая инструменты, детали, оружие, болты в уголь и железную руду. Они по-настоящему взялись за проблемы экологии, повернулись к ним лицом, задавшись общей целью. Время разговоров прошло. Пора действовать. Тотальную болезнь лечат

тотальными средствами. Нынче размышлять и переживать некогда. И по-моему, изматывающий труд помогает людям держаться. Труд освобождает: отправляясь на работу в пятницу вечером, они кричат, смеются и расправляют плечи.

Тод любит толпу. В толпе можно быть незаметным лидером. Как в случае с брюками клеш. Он щеголял в этих клешах совсем недолго, и вот уже все в таких ходят. А еще рубашки в цветочек и разлапистые шейные платки, или тот кафтан — *дхоти*, который он напяливает по выходным: белый, по покрою смахивает на его медицинский халат, но вызывает совсем другие ассоциации. Согласен, в его возрасте это отвратительно. Но старики так делают, а молодые не говорят, что им нельзя. Мода — это толпа. Тод носит красную нарукавную повязку, тоже как все. У меня от толпы паранойя и клаустрофобия, но Тод любит толпу и ищет ее. Он расплавляется в большем, в его рдеющей массе, с восторгом и облегчением. Он избавляется от того, что порой кажется ему невыносимым: от своей индивидуальности, личности, сущности, которая теряется в массовой неразборчивости. Он становится не более заметен, чем я. Все опять к одному и тому же. Продай свою душу и обрети власть.

Под грозовым фронтом, под покровом облаков, похожим на обложенный язык, по которому гуляет луч докторского фонарика, будто на темном карнавале, мы протестуем против войны во Вьетнаме; подняв оживленные лица, мы движемся в давке, в едином потоке тел, с ощущением, что мы все затеряны и правы, забыты и правы. Мы в полмили длиной, мы стар и млад, мы белые и черные, мы девочки и мальчики, мы хотим убить чудовище — или создать его. Плакаты и транспаранты говорят обычные вещи про мир, про войну, но есть и более конкретные требования, например, ПОКОНЧИТЬ С СЕГРЕГАЦИЕЙ ДЕ-ФАКТО и УВОЛИТЬ МИССИС ЭЙНТРИ. Тод смотрит на УВОЛИТЬ МИССИС ЭЙНТРИ. Он не хочет увольнять миссис Эйнтри. Он, вероятно, хочет найти миссис Эйнтри — и трахнуть ее. Вьетнамская война ему, конечно, по барабану. И не для того он здесь, чтобы знакомиться с женщинами, честное слово. Напротив, он здесь, чтобы скрыться от них, утратить их, уплыть от них в душной безопасности толпы.

Приближается еще одна война. О да, мы это знаем. Большая, мировая война, которая катком прокатится по деревням. Мне не хватает воображения, чтобы представить, какие на это

потребуются приготовления, сколько надо будет демонтировать, ровнять, сколько вскрыть ран, чтобы они вдруг зажили… Осталось ровно двадцать пять лет до ее начала. Вот почему так много предупреждений о ней, везде, куда ни глянь, даже там, куда смотрит Тод. Я-то думал, что вести о ней будут накапливаться, но, слава богу, волна уже спадает.

Тема эта для Тода особо чувствительная. Она действует на него — как запах, как удар колокола. Поздно… Этот же механизм срабатывает, когда он слышит тот, другой язык, что не так уж редко случается в последнее время, особенно в Роксбери, куда он наведывается по воскресеньям; на этом языке, наверное, могли бы общаться между собой машины, когда их не слышат люди. И третье, от чего срабатывает спусковой механизм, — стрижка ногтей. Запах, который издают, с потрескиванием готовясь на огне, желтоватые колечки…

Я заметил даты. Для нынешней войны мы совершенно не пригодны по возрасту, но когда начнется мировая — мы еще повоюем. У нас же нет ни единого физического изъяна. Плоскостопием мы не страдаем. Зрение у нас хорошее. Мы не колченоги, не марксисты и не идиоты.

Никакая религия, или еще что, не запрещает нам брать в руки оружие. Мы само совершенство.

Стандартная интрижка нынче начинается примерно вот как. Начинается она, в сущности, с мгновения *ужаса*.

Чаще всего поздно вечером мы едем в какой-нибудь ресторанчик. Официант уже принес наши бабки, наш гонорар или как там это называется, мы сидим, тихонько отрыгиваем и сливаем в бокал свой бренди и прелестно попыхиваем папиросой. И тут мы замечаем, что люди на нас поглядывают. А нам не нравится, когда на нас смотрят. Затем наш взгляд жестко фиксируется на ссутулившейся женской фигурке, торопливо входящей в дверь и направляющейся к нам через зал. Светленькая, темненькая, худенькая, пухленькая, элегантная, не очень элегантная. Потом она оборачивается — в этот разворот с вызовом они вкладывают всю свою силу, — и мы видим, как они выглядят. Лично для меня, когда они оборачиваются — это всегда тревожный момент, независимо от их внешности. Потому что в отношениях с женщинами правит предопределенность: на первом же свидании получаешь все. Ну, бывает, что и на втором, но чаще — на первом. Молниеносное вторжение. Мгновенное завоева-

ние и господство. На все хватает максимум пары часов. Вот пруха. Можно подойти к женщине на перекрестке, начать орать на нее — и через десять минут она уже у тебя дома и вытворяет бог знает что. Не раз первым физическим контактом, первым прикосновением становилась пощечина или толчок — удар ее руки следовал в ответ на слабенькую Тодову ухмылку, выражавшую — что? Похоть? Презрение? Все, что должно произойти в промежутке, — это мгновение ужаса, о котором я только что упоминал. Оно активизирует, оно приводит в действие. Без него, судя по всему, абсолютно никак.

И вот она усаживается за стол, раскрасневшаяся, возбужденная, надменная, решительная — в общем, кипятком так и брызжет, — а я еще подливаю масла в огонь примерно таким образом:

— Пожалуйста, не уходи.

— Прощай, Тод.

— Не уходи.

— Это бессмысленно.

— Ну, пожалуйста.

— У наших отношений нет будущего.

Вот тут я, признаюсь, молча ей поддакиваю. Тод продолжает:

— Эльза, — произносит он (или Розмари, или

Хуанита, или Бетти-Джин). — Ты для меня очень много значишь.

— Ни хрена.

— Но я люблю тебя.

— Я боюсь смотреть тебе в глаза.

Я и раньше, конечно, замечал, что в большинстве диалогов больше смысла, если прокручивать их задом наперед. Но эту чушь между мужчиной и женщиной можно гонять что так, что эдак — все равно ни на шаг не продвинешься.

— Пожалуйста. Отложи решение до утра.

— Мы должны распрощаться, Тод.

— Бет, — говорит он. (Или Труди, или еще что-нибудь.)

— Я так больше не могу, вот и все.

— Дай мне еще хоть один шанс.

Потом они занимаются чем обычно. Все по полной программе, с конца до самого начала. Их можно понять — у Тода есть положительные качества. Он — как это многие признают — «очень чувствительный» (кажется, я понимаю, что это значит. Но они-то как догадались?). И они не распространяются о его очевидных изъянах, например, о том, что он врач и имеет три дюжины подружек. Нет, беда, очевидно, в том, что Тод не подпускает к себе близко, всегда закрыт, словно

что-то скрывает. Мне кажется, Труди, и Хуанита, и все остальные хотят сказать, что от Тода у них мурашки по коже. Но что бы они ни говорили и ни пытались сказать, это никак не влияет на поведение Тода.

Заниматься любовью он предпочитает в мертвенный сумеречный час. Он не позволяет им ночевать у себя — еще один его часто осуждаемый недостаток. Одна лишь Айрин всегда остается на ночь… Сумочка на коленях Бет распахнула рот в широком зевке. Бет переживает, что все кончается. А я — я жалею, что все начинается. Знаю по опыту: когда все утрясется, к тому времени, когда я по-настоящему привяжусь к ним, к их милым привычкам, они начнут отдаляться, безвозвратно уходить от меня — с легчайшими поцелуями, мимолетными рукопожатиями, улыбкой, прикосновениями затянутых в чулки ног под столом. Они будут морочить нам голову цветами и шоколадками. О да, я через все это проходил. Потом в один прекрасный день они просто перестанут нас замечать. А потом наверняка поменяют работу или место жительства. У них вдруг окажутся дети, которых нужно пропихнуть через колледж, или их начнет трахать старый муж.

Мы подытоживаем трапезу коктейлем, а затем,

угрюмо и в мельчайших деталях, описываем ее официанту, сверяясь с меню, когда подводит память. Молчание в машине по пути к его дому и любовный акт в сумеречный час. Следующий, как я уже сказал, за мгновением ужаса. Есть что-то жалостное в этой вечерней сцене с двумя взрослыми людьми, их очками, волосами, тяжелой старой обувью и тем особым доверием, на которое женщина неизменно рассчитывает, хотя порой тщетно. Вот он — как удар колокола. Обнаженный взгляд. Тело ее, вероятно, к этому моменту тоже обнажено, но нет ничего обнаженнее человеческих глаз: они даже кожей не прикрыты. Он как удар колокола, этот миг глубокой сосредоточенности. Тот самый взгляд — полного понимания, неприятного удивления — словно она только что, перед самым пробуждением, увидела все-все, даже ту фигуру из сна, в белом халате и черных сапогах, и ночное небо, полное душ. Ну, что бы она там ни увидела, это ее, должно быть, не слишком беспокоит. Как знать, может, это даже действует немного возбуждающе. Через несколько секунд она со вздохом уступит его поразительному вторжению. И долго грустить не будет. Следовательно, все это не более чем пустая болтовня или своего рода *убалтыва-*

ние, сплошные «Я чувствую, что совсем тебя не знаю» и «О чем ты на самом деле думаешь?». А также «Покажи свое подлинное "я"». Подлинный Тод. Еще бы, мне тоже очень любопытно. Подлинный Тод — покажите мне его. Но уверен ли я, что действительно хочу это увидеть?

Наиболее метко, пожалуй, высказывается об этом Айрин — уж она-то за словом в карман не лезет, — когда говорит Тоду, что у него нет души. Сперва я принимал ее слова на свой счет и был в отчаянии. Но все-таки она не уходит. А раз она не уходит, значит, Тод не так уж плох? Ее же никто не держит. Она нам не мать… Нет нужды говорить, что Тод не стал отчитываться Айрин о своих новых знакомствах, своих вторжениях, своих завоеваниях и тайных аннексиях. Но она-то его знает. Она наблюдательная. Скажем, именно Айрин указала на то, на что я сам никогда бы не обратил внимания: Тод не умеет говорить и улыбаться одновременно. Может быть, правда, он просто не хочет или не чувствует такой необходимости… Он прекрасно управляется. Со всеми своими дамочками, разными их телами, разным их барахлишком. Я же тем временем страдаю. Очевидно, я слишком подвержен сожалению и раскаянию. Будь моя воля, которой у меня нет

и никогда не будет (ведь я бессилен, даже рта раскрыть не могу), я бы остался верен Айрин. По крайней мере до появления жены. Это просто дело принципа. Один мужчина, одна женщина: думаю, это наш долг перед человеческим телом. Когда Айрин лежит в наших объятиях, я чувствую себя пылким призраком, рыдающим от страсти немым. «Тод, может, и двурушник, — хочется мне шепнуть, — но я перед тобой честен. Я верен. Я не вру».

Комната во сне всегда одна и та же, она чем-то напоминает садовый домик или сарай. Утварь испорчена. Воздух крайне испорчен. Там скопились люди. Это комната, в которой долго и нудно будет решаться какой-то гибельный вопрос.

Тодово подсознание утверждает в форме сна, что Тод испытывает боль. Сны говорят об этом своими невыносимыми повторами. И страхом. У Тода основательный вклад в банке, где хранится страх. Иногда, около полуночи, Тод принимается творить вещи. Он яростно чинит и исцеляет их. Одним-единственным ударом об пол создает из груды деревянного хлама кухонный стул. Ловким и свирепым пинком зудящей ноги выправляет глубокую вмятину в боку у холодильника. Приложившись головой к зеркалу в ванной, заставляет

исчезнуть паутину стеклянных трещин, а заодно заживляет кровящий рубец у себя на лбу, после чего долго таращится на свое отражение и моргает.

Я как-то говорил о спусковых крючках, стимулах, на которые отзывается *тело* Тода. Безотказное звяканье медного колокольчика, сигнальный шнур которого туго впутан в Тодово нутро, переплетен с его кишками. Есть еще четвертый спусковой крючок. Как и паленые ногти, он возникает из огня. Не является ли сам огонь спусковым механизмом? Огонь, больно лечащий и ярко творящий из кромешного чада и хаоса…

Раз в год пламя порождает одно и то же письмо. Тод сидит, зловеще уставившись в очаг, глядя, как лопочет огонь, как извиваются языки в его обнаженных глотках. Тодова гортань издает замысловатую серию щелчков, похожих на рвотные позывы. Мысли его я, конечно, прочесть не могу. Но я тайный совладелец его тела. Что оно испытывает? Пытку, отъявленный сепсис самого унизительного страха. И облегчение — постыдное облегчение. После чего письмо, расправляясь от жара, превращается из черного в белое и влетает к нам в протянутую руку.

В письме говорится всегда одно и то же. Ну

какую еще корреспонденцию может получать Тод Френдли — однообразную, скучную и безответную, как рекламные буклеты. Вот что там написано:

Дорогой Тод Френдли, надеюсь, что Вы в добром здравии; у нас все хорошо. Рад сообщить Вам, что погода здесь продолжает оставаться устойчивой!

Искренне Ваш. Потом уморительный росчерк, а ниже — любезная расшифровка: преподобный Николас Кредитор. Под «здесь» (там, где погода вечно-устойчивая), судя по фирменному бланку, имеется в виду Нью-Йорк — а именно отель «Империал» на Бродвее.

И только. Все, что вызывают у меня эти письма, — ежегодный приступ скуки. Но Тод ведет себя так, словно Нью-Йорк за дверью, а умеренная погода означает дикие ливни, адские ураганы и безумное полыхание венерианских молний. Весь взбудораженный, он будет еще долго сидеть у огня с бутылкой скотча. Утром он положит письмо на коврик у двери вместе с прочей макулатурой, и оно уйдет, исчезнет, как и страх Тода.

Что с ним будет, если погода в Нью-Йорке действительно испортится?

Полагаю, не случайно, что почти все наши

романы заканчиваются в кабинетах Ассоциации медицинской службы. При встрече с той или иной подружкой на фоне графиков роста и веса, диетологических таблиц, радиоизотопных снимков и плакатов типа «ЭНДОМЕТРИОЗ? НИЧЕГО СТРАШНОГО» в нас побеждает профессиональный формализм. Физически ничего особенного не происходит, разве что измерение пульса и потирание лба. Ах да, еще Тод легонько колет их булавками: «Онемения нет?» Подружкам нашим, похоже, нравится такая игра, по крайней мере сначала; они флиртуют и ведут себя заговорщически. Думаю, отталкивают их в конце концов расспросы Тода: «Сколько времени вы замужем?», «Ваш муж активен как мужчина?», «Вы живете… полной жизнью?». Наши подружки никогда не живут полной жизнью. Все они с обидой заявляют, что жизнь их пуста. Однако от этих расспросов отношения окончательно портятся.

А может, все проще и дело в том, что они видят Тода в его естественной среде обитания: врач, привратник в белом халате с черным портфелем. И наши дамочки пятятся прочь с переменившимся лицом, навсегда, помедлив за закрытой дверью только чтобы тихо постучать, тихонько постучать по крышке гроба любви.

Но их еще полно там, откуда они берутся. Их находишь повсюду. В ресторане, на парковке, в барах, в дверях дождливым вечером; то запахнутых и укутанных от ветра и холода, а то голых в незнакомых квартирах.

Итак, оно почти полное, это растворение в чужих телах. А тела прекрасны, ведь так? Ведь я именно так должен считать? Ну, ладно, ладно — они *действительно* прекрасны. Они все прощают. Если старые. Они не судят. Айрин, чья белая необъятность прощает все. Она так и говорит.

— Тебе не надо это знать, — шепчет Тод во тьме, прежде чем уснуть.

— Что бы это ни было, я могла бы это простить.

— Тебе не надо это знать, — шепчет Тод.

Ей не надо знать. *Мне* не надо знать. Никому не надо знать.

А есть еще наше собственное тело, наш собственный плотский инструмент, которым мы теперь ужасно гордимся. Пружинистая энергичная походка. Ах, как четко и мощно работает наш кишечник. Как мы великолепно функционируем… Думаю, неудивительно, что дамочки бегают за нами толпой и так быстро уступают чарам нашего бесстрастного продолговатого лица, наших чистых и могучих рук. Если вам по душе такой

тип, то уж поверьте на слово, Тод *невероятно* привлекателен… Осмелюсь предположить, что гордость за свое тело как-то связана у него со страхом — страхом быть покалеченным, а то и убитым. Но с какой стати кому-то должно взбрести в голову калечить или убивать его? Может, разве что врачам, но Тод не обращается к услугам врачей, он их близко не подпускает. «Не вздумай слушать врачей, — говорит он Айрин, почти ухитряясь в кои-то веки говорить и улыбаться одновременно. — Они постараются воткнуть в тебя свои ножики. Не давай им втыкать в тебя ножики». Перед зеркалом в ванной, гладкий и яркий, Тод испытывает такую радость, за которой скрывается конвульсивная дрожь. Давай-давай, хочется мне сказать. Изобрази, чего тебе хочется. Согнись и прикрой руками чресла. Защити свое нижнее сердце.

А вот я уже сижу в просторном баре-ресторане, в специальном блеватории, в модной такой тошниловке. Явилась женщина, и мы принялись за обильно сдобренное слезами мясо: еда с пылу с жару вырастает на наших тарелках. Погодите-ка. Она же — вегетарианка. Говорит, что любит всяких животных, — но такое впечатление, только на словах. Скоро… Боже, как эта рутина похожа на

половой акт. Сначала печаль и смятение, потом эфемерная беспредельность, затем тела вновь облекают себя одеждой, и следует поиск слов и жестов, прежде чем разойтись восвояси.

Вдобавок к прежним Тод стал крутить новые сны, в которых он — женщина. Я тоже женщина: в этом сне я и участник, и наблюдатель. Возле нас мужчина, он отвернулся, он сидит вполоборота, массивной спиной к нам. Он, конечно, может причинить нам вред. Но он может и защитить нас, если захочет. Мы робко полагаемся на его защиту. У нас нет иного выбора, кроме как, волнуясь, любить его. К тому же у нас нет волос, что необычно для женщин. Рад сообщить, что в этом сне — никаких младенцев. Мы не видим детей, ни могущественных, ни каких-либо иных. Мы не видим младенцев-бомб, малышей, наделенных тротиловым эквивалентом. Это бездетный сон.

Время устремляется к чему-то. Оно неудержимо течет мимо, как отражение на ветровом стекле машины, мчащейся по лесу или городу.

Однояйцовые близнецы, гномы, призраки, любовная жизнь Калигулы, Екатерины Великой и Влада Цепеша, перистые облака Скандинавии, Атлантида, додо.

Ну, держись. Тод вдруг принялся читать бук-

леты-путеводители по всяким захолустным районам Канады. Да, он их находит в мусоре. В Канаде сейчас околачиваются молодые люди, которым полагается быть во Вьетнаме. Может быть, Тод подумывает о Канаде. А может, он подумывает о Вьетнаме. Вьетнам пошел бы ему на пользу. Всякие пустомели-хиппи и торчки-жиртресты возвращаются оттуда чистенькими, свежими, аккуратными, отслужив положенное в зоне боевых действий, в Наме, в, как они говорят, *говнище*.

В последнем своем послании Николас Кредитор проявил скрывавшийся прежде талант записного краснобая. Погода там, в Нью-Йорке, пишет он, «несмотря на некоторую нестабильность в последнее время, вновь установилась». Мне кажется, он не прав. Думаю, погода меняется. По-моему, определенно надвигается гроза.

Я понял, что что-то готовится, как только Тод начал продавать мебель. Я наблюдал за этим, как жена, в обиженном молчании. Сперва увезли всю мебель, до щепочки, а потом все мои кухонные приспособления, затем все ковры и занавески, представляете. За что мне такое наказание? Тод прямо тащится от этого, все время старается как-нибудь еще обезобразить дом. В выходной напялил спецовку. Рыскал по дому, как ошалев-

шая обезьяна, высматривая, что бы такое еще разобрать и испортить.

Электропроводке он устроил форменный геноцид. Час за жутким часом на чердаке или в подполе слепо нашаривая провод или кабель; Платонова тьма этой преисподней стала символом новых ночей со свечкой и фонариком, и наше прежнее житье мнилось мне теперь исполинским, залитым огнями собором. Водопроводу повезло ничуть не больше. Страшная это вообще профессия — водопроводчик. Изнанка всего и вся; будто состоишь из одних локтей и коленок, и даже щекой упираешься в медные потроха. Но все-таки у него получилось: воды у нас теперь нет. Только кран в саду. Каждый поход в ванну — нешуточное испытание: унитаз первым делом фонтанирует, и Тоду приходится проявлять чудеса ловкости со своим ведерком. Так проходит жизнь, под лязг и скрип ведер и баков. И вот мы на первом этаже, на голых досках: свечка, газовые баллоны, полуфабрикаты из кулинарии на картонной тарелке. Вот до чего Тод нас довел. Я хочу сказать, что когда начинал с ним жить, не мог даже представить… А за дверью опустевший палисадник, голые кусты, чахлая травка — выжженная земля.

Расстроило меня не затягивание поясов и не мрачная, упрямая живость Тода, которая все равно недолго продержалась. В любом случае я привязан к этому старому ублюдку, как бы он там ни жил. Одиночество, растущее вокруг меня, подо мной, — вот чего я не мог принять. Глянец жреческого равнодушия на лицах продавца и бармена. Блеклое невнимание в глазах соседей. Да и на работе, чувствую, творится то же самое. Что до женщин — что ж, дамочки, спасибо вам. Они покинули меня одна за другой. Лишь Айрин держится. По поводу жилищных условий она проявила максимум такта, хотя настроение у нее, понятное дело, было невеселое и настороженное. Что-то подсказывает мне, что с ней я тоже на время расстанусь. Господи, даже соседская собака перестала узнавать и возненавидела меня. А бывало, пролезала под забором и таскала мне косточки. Раньше она прыгала, играла со мной. А теперь на мою долю приходятся лишь злобный рык и отвращение в мутном взоре. Сука… Это ведь как в песенке поется, буквально так и есть. Когда катишься вниз по наклонной, тебя перестают узнавать. Никто тебя знать не желает.

Роковой день настал. Мы перебрались в «студию» в Роксбери. Не хочу описывать эту комнату.

Я все равно там почти ничего не разобрал, взгляд застило от боли. Что ж, надеюсь, Тод счастлив… На самом-то деле — нет, не счастлив. Теперь большую часть свободного времени он проводит в пьяной молитве. Оживляется, лишь когда мы ездим назад, в старый дом, на встречу с агентом по недвижимости. Они переходят из комнаты в комнату и, кивая, замирают, восхищенные мастерством Тода. Да уж, старый дом — Тод его и впрямь засрал. Не завидую новым жильцам. Они какие-то хиппи или цыгане, а то и вообще бомжи. Простите, ребята. Что насчет правила оставлять после себя ванну такой, какой хотел бы ее найти? Ну, так или иначе, мы свое дело сделали. Весь дом превратился в уборную, сверху донизу.

В довершение картины мы подверглись ряду горьких унижений в АМС. В пятницу я сдал свое тонкое кремовое облачение и напялил какой-то мясницкий фартук, немыслимо и невесть кем загаженный. У нашей новой должности есть один плюс: о непрестанной пикировке ланцетами и скальпелями можно забыть. О чем теперь забыть нельзя, так это о кладовых, о печах для мусора, о мусоровозах, о городской свалке. Свалка — уникальный объект, первоисточник всего на свете. В бойлерной, среди десятигаллонных мешков, я за-

катываю рукава и роюсь в кучах окровавленных тампонов и пластырей, битых ампул и шприцев, осколков погибших цивилизаций. Добро берется также из печи, которую я обслуживаю. Затем я набиваю хламом соответствующие мусорные бачки и развожу их по зданию, где никто меня не узнает. Работяга в растрепанном рубище — вот кто я теперь. Я воняю как полостная операция. Все мое существо хрустко утыкано битым стеклом, но это ничего, потому что, хоть от меня и смердит за милю, никто меня не замечает и не узнает.

Теперь мы как невидимки. Возможно, именно в этом смысл всего происходящего с нами — в тяге к невидимости. На недолгое время невидимость обретается в толпе, или за запертой дверью туалета (где во время этой тяжкой процедуры, по общему убеждению, всякий невидим), или в любовном акте, или тут, на дне, где нас никто не знает. Джо, мой коллега-сменщик (старый, жирный, черный и неповоротливый, словно прикипевший к мусорной печи: «Хэй!», «Йоу!», «Джо!», «Хэй!»), — вот он меня знает. Да еще доктор Магрудер нет-нет да зыркнет величественно в мою сторону, когда мы пробегаем мимо. Френдли без френдов. Мы двигаемся незаметно, склонив голову, уставившись в пол. Мы явно куда-то намылились.

Выходит, человек без окружающих и правда не существует? Он исчезает. Даже Джо стал поглядывать на меня как-то странно, словно я не вполне существую. Теперь в нашем распоряжении только одно тело, наше собственное. Но если мы согрешили и должны скрываться, то почему становимся все красивее?

Вечером я еду на поезде куда-то на юг. Мимо меня проплывает Атлантическое побережье Америки. Все дела окончены. Я не знаю, куда мы едем: на нашем билете, с презрительным щелчком исторгнутом вокзальной урной, есть название пункта отправления, но нет станции назначения. То же самое можно, пожалуй, сказать и о нашей с Тодом индивидуальности. «Тод Френдли», — бормочет Тод Френдли, не раскрывая рта, словно пытается запомнить или выучить это имя. Наш жалкий багаж: неподъемно тяжелый чемодан, набитый одеждой, деньгами, человеческими останками, — один; тело, скрюченное от прокисшего адреналина, — одно. Сердце Тода съеживается, как устрица в раковине, при каждом резком движении соседей по вагону. Стук сердечный, стук колесный… Черт, над нами нависает сержевое плечо и сурово склоняет голову проводник. Он заглаживает компостером

дырочку на моем билете и несет свой пытливый взгляд дальше. Ох, как нам паршиво. Может, будет лучше, если сесть лицом в другую сторону? Поезд приговаривает: Тод-Френдли-Тод-Френдли-Тод-Френдли…

Прекратите. Остановите поезд! Я почему-то думал, что готов к суровым испытаниям. Готов катиться по наклонной — но не так резко. Боже, бедные мои буржуазные страхи: очередное неуютное жилье, может быть, еще более низкое окружение (если такое возможно), или, может быть (я думал об этом с мученической миной), бродячая жизнь. Но постойте-ка. Железы Тода настроились на режим сна, повизгивая от кошмаров. Так вот, наверное, к чему мы движемся: белый халат и черные сапоги, взрывоопасный младенец, испачканный фартук на вешалке, вьюга из душ. Деревянная комната, в которой будет невыносимо долго решаться какой-то фатальный вопрос. Каждому снится, что с ним происходит что-то плохое. Это легко. Куда труднее прийти в себя после таких снов… За окном проносится Америка, стада, лес, пшеница, дары юного мира. Торопливо и жадно я ищу покоя — в океане, не на волнующейся его поверхности и размытых берегах, но в затаенной глубине, куда всё в конце

концов вернется.

Это, должно быть, Нью-Йорк. Вот куда мы едем: в Нью-Йорк, в его ненастье.

Он едет к своей тайне. Паразит или пассажир, я еду туда вместе с ним. Будет плохо. Будет плохо и непонятно. Но одно я узнаю точно (и хотя бы от этого становится спокойнее): я *узнаю*, насколько ужасна эта тайна. Я узнаю природу этого преступления. Кое-что я уже знаю. Я знаю, что оно связано с дерьмом и мусором — и что со временем какой-то бардак.

ГЛАВА 3
Поскольку я целитель, все, что я делаю, исцеляет

Эти желтые автомобильчики как-то так устроены, что кажется, лучше некуда. Они всякий раз подворачиваются там, где нужно, даже в дождь или в час, когда закрываются театры. Тебе платят вперед и ни о чем не спрашивают. Они всегда знают, куда тебя везти. Они просто великолепны. Неудивительно, что мы потом стоим по нескольку часов, прощально махая или салютуя — отдавая должные почести такому прекрасному сервису. На улицах полно людей с поднятой рукой, промокших и усталых, воздающих благодарность желтым автомобилям. Одно плохо: всякий раз меня отвозят туда, куда я не хочу ехать.

Первые тридцать шесть часов нашего пребывания в Нью-Йорке выдались лихорадочными, но не страшными. Они были посвящены нашему имени. Мы обзаводились новым. Или избавлялись от старого. Еще нам нужно было устроиться на новой квартире, которая произвела на меня

отличное впечатление (надеюсь, мы тут надолго, но я в этом ничего не понимаю, пусть Тод сам решает такие вопросы). Или лучше поставить это имя в кавычки — «Тод». Тоду уже не быть больше Тодом. Он поменял это имя на другое, получше. А еще мы познакомились с Николасом Кредитором. Не скажу, что понял, как это одно сошлось к одному. Но как-то я это дело провернул, капитально потратился. Поначалу я иногда боюсь за себя, а не за других. Так вот что происходило с нами по прибытии в Нью-Йорк.

Мы остановились под землей: Гранд-Сентрал; поезд вздохнул, и один за другим завздыхали пассажиры. Выходившие первыми спрыгивали в спешке, остальные медлили, готовясь влиться в уличную суматоху. Тод несколько минут посидел, склонив голову, а потом рванулся с места. Пробираясь по сумрачной платформе, он все время озирался — кажется, впервые в жизни он пытался увидеть, куда идет. И в результате все время с кем-нибудь сталкивался. Поклоны, изысканные жесты, вероники извинений. Он втиснулся в очередь у билетной кассы, тут же получил за свою бумажку восемнадцать долларов, но продолжал стоять, по-детски нетерпеливо мотая головой, а затем нырнул в обстроенный киосками под-

земный переход. На улице к нему, как обычно, с готовностью подкатило такси. И вот мы снова в пути, через ущелье под тотемом. Почему бы не начать с посещения Эмпайр-стейт-билдинг или со статуи Свободы, думал я с волнением. Но это было бы слишком старомодно. Шел ноябрь. Люди отрастили к зиме теплый мех, а небоскребы вибрировали в жесткой хватке уравнений равновесия.

Новое жилье состояло из одной-единственной комнаты размером с небольшой склад: стол из натурального дерева, приземистые кресла черной кожи, картотечные шкафчики, койка-секс-содром. В отличие от наших прежних обиталищ, это имело индивидуальность. Квартирка была жлобская. Строгая, гигиеничная — и жлобская. Проживавший там мужчина должен был свято верить во всякие там йогурты, приседания-отжимания и нудистские отпуски. Ну, как бы то ни было — казалось, мне и Тоду можно спокойно разуться. И пообвыкнуть на новом месте. Так нет. Сперва понадобилось разобраться с нашей новой личностью. И во втором такси, курсом на восток, я размышлял, глядя в окно на местных обитателей (кто совсем безликий, а кто один только лик, прическа и поза), всем ли приезжающим в

Нью-Йорк нужно новое имя. Или это только мы такие. Только он. Ведь больше он уже не «Тод». Над кнопкой звонка на дверной табличке, на конвертах под настольной лампой — всюду одно и то же имя: Джон Янг, Джон Янг, Джон Янг. В окошко, кружась, влетели исторгнутые городом мелкие клочки бумаги. Мы исцелили их своей врачующей рукой и разложили по карманам. Письма, членские билеты, счета, рецепты. На всех написано: Джон Янг. Что там еще за окном? Автомобили, конечно. Конечно, автомобили. Машины, машины, машины — всюду, насколько хватает глаз.

Следующая остановка — переудостоверение личности, секретная фабрика новых людей, в глубоком подполье и тяжко донельзя: едкий жар химчистилища, и дальше — приглушенный, возвратно-поступательный ритм закабаленных машин. Нашим вопросом занимался прожженный парень, городской специалист с односторонней полнотой, носивший в глазу наперсткообразную лупу. Он тут же, с ходу, отсчитал нам деньги и сказал что-то вроде того, что здесь не выбирают, а если не нравится, то можете поискать в другом месте, и вдруг мы сказали таким тоном, какого я раньше никогда не слышал, голосом, который

больше не притворялся добрым, голосом, в котором прорвалось все напряжение столь долгого притворства:

— Тод Френдли? Что за имечко ебанутое?!

— Вот, — сказал парень. — Чистый.

Пришлось нам заходить к нему еще и еще. Выход из этого подвала отыскивался каждый раз дольше и дольше. Мы пытались поесть. Еду мы выуживали из мусорных баков на Вашингтон-сквер — сэндвич, почти целое, только раз надкушенное яблоко, — чтобы потом обменять на мелочь в гастрономе. Мы убивали время. Время, которое делает нас такими, какие мы есть. Вплоть до этой последней перемены.

— Ладно, — сказали мы с горечью, вероятно неуместной, когда парень вручал нам новые документы вместе с огромной кучей денег. — Куда ж деваться.

— В два раза больше.

— Скажите вы.

— Надеюсь, он сказал вам, сколько надо платить за срочный геморрой. Да еще на выходных.

— Отлично.

— Угу. Вы от Преподобного.

— Вас должны были предупредить. Меня зовут Джон Янг.

Вот и все. Теперь меня зовут Джон Янг.

А день все тянулся, это был самый долгий день из всех. Даже путешествие на поезде, казалось, было давным-давно, как Уэллпорт, как прошлая жизнь. Но Джону Янгу не спалось. Под звуки множества машин и очень немногочисленных птиц затухал рассвет. А Джон Янг все лежал, пытаясь справиться со страхом. Унять его… Я думал о шахматистах в парке, где мы просидели столько часов, шахматистах, куда более разностильных, чем фигурки, которые они двигали (игроки не прямые, не ровные, а шамкающие, шаркающие, ромбовидные). Всякая игра действительно начинается с беспорядка и проходит через эпизоды искажения и противоречия. Но все налаживается. Все эти напряженные позы, облокачивания, хмурая задумчивость, все эти мучения не напрасны. Один завершающий ход белой пешкой — и идеальный порядок восстановлен; игроки в конце концов отрывают взоры от доски, улыбаются и потирают руки. Время покажет, и я полностью доверяю ему. Как, разумеется, и шахматисты, двигающие свои фигуры лишь после обязательного шлепка по часам.

Слава тебе Господи. Отключился. Как дитя. Хотя я-то, конечно, не сплю: даже во тьме я сторожу

мир. Бывает, порой — например, сейчас — я смотрю на Тода, на Джона, как бы мать могла (мать-мгла), и стараюсь в невинности или беспристрастии его сна разглядеть надежду.

Итак, мы проснулись другим человеком. Джоном Янгом. Джонни Янг. А может, так: *Джек* Янг? Мне даже нравится. Бр-р. Вдруг отступила боль. Дотянемся же (о-оп!) до бутылки и промочим горло парой глоточков… Ох, ничего себе. «Уайлд Терки».

Наша одежда слетелась к нам со всей комнаты. Ботинок, пущенный кем-то из темноты, как тяжелая старая пуля, и ловко пойманный одной рукой; извивающиеся штаны, пойманные ногой и вздернутые по ней вверх несколькими рывками; галстук с повадками удава. У меня появилось нехорошее предчувствие, когда мы бросились в ванную и нашарили ополаскиватель для рта. Затем мы встали на колени перед алтарем унитаза — и потянули рычажок. Унитаз наполнился своими гадкими сюрпризами. Ох, какой кошмар. Как сейчас помню, мы раньше уже пару раз это проделывали. По-моему, это верх издевательства над человеческим телом. И вот мы прижались лбом к холодному фаянсу и пару раз с отвращением рыгнули какой-то кислятиной. И принялись

задело. Поводом для злоупотребления алкоголем, судя по всему, является то, что самосознание, или самость, то есть материальность, невыносима. Но она же *действительно* невыносима. Особенно если вас распирает от мертвечины. Вот опять началось самосознание, изнурительное, многообразное, невыносимое.

Мы отправились в Нью-Йорк-Сити и принялись шататься по Виллиджу и выдавливать все это потихоньку из себя в разных барах. В первых нескольких точках нас не хотели обслуживать, и неудивительно, потому что мы врывались в помещение с дикими воплями, во всю дурь этого нашего нового голоса. Помнится, была тихая пауза в одном закоулочке, когда мы, сопя, улеглись на груду картонных коробок; потом два молодых человека приподняли нас, шутя привели в божеский вид и отконвоировали обратно на передовую. Потом мы решили проверить, какого хрена творится еще в парочке заведений в том же квартале. Понимаю, почему на Джона так подействовал Нью-Йорк: здесь ночная жизнь во всех ее красках и переливах вытекает на улицу, а не теснится за расцвеченными витринами. Тем не менее к шести часам он был в норме. У двери последнего бара поджидала неумолимая тачка, в

которой, отвернувшись, сидел водитель и ждал меня, чтобы отвезти туда, куда я ехать не хотел.

Как и шофер, я без лишних слов знал, куда мы едем. Пожарная лестница Седьмой авеню, вверх по перекладинам поперечных улиц, затем болтающаяся веревка Бродвея. Отель «Империал». Нам предстоит встреча с нашим метеорологом Николасом Кредитором.

Преподобный оказался статен, величав, грустен и властен. У него была носатая телегеничная физиономия политика. Но все-таки в Штатах с такой внешностью карьеру не сделаешь, по крайней мере в наше время. Масть не та, усы ни к черту — такие подошли бы разве что учителю танго. Я сразу же подумал, что в его бордовом костюме есть нечто жалкое и непотребное, заставляющее гадать, в какое еще обмундирование он мог бы вырядиться. Его черный галстук был заколот золотой булавкой в виде распятия. В комнате имелись еще несколько религиозных аксессуаров, а на стенах — идеализированные сценки из Нового Завета. Мы уселись перед обитым кожей письменным столом, на стул для посетителей. Не предвещая ничего хорошего, у стены стояли две койки — двухместные, совершенно идентичные, как близнецы, с одинаковыми покрывалами и

набором подушечек.

Он немного поговорил о мелочах, адресах; какие-то были мне известны, какие-то нет. Потом он сказал:

— И, пожалуйста, имейте в виду: я безмерно уважаю вас за то, через что вам пришлось пройти.

— Я всегда хотел лишь одного, — с благодарностью произнес Джон, — помогать людям.

— Вы сможете продолжить свою прекрасную работу. Это я гарантирую.

Он гарантировал это. Безвольно пожав плечами. В отеле «Империал» полно стариков. Это стариковский отель. Мы видели и обоняли их, когда поднимались сюда, их неверную осанку и дружную нерешительность. Судя по официальному костюму и строго локализованной харизме, часть здешнего старичья находится на попечении Кредитора. *Это я гарантирую…* Его легко было представить гарантирующим что угодно, по крайней мере на словах.

— Я очень хотел бы и дальше помогать людям, — сказал Джон.

— Бросьте все, начните сначала где-нибудь на новом месте. Плюс еще в том, что у вас нет семьи.

— Это необходимо?

— Тогда лучше просто уехать из Нью-Йорка, — сказал он. — Пока что все это на уровне штата. Речь идет не о Сан-Кристобале. Речь идет о Нью-Джерси. Даже не о Канаде.

— В этом я не нуждаюсь.

— Мы могли бы помочь вам с оплатой адвоката и с юридической консультацией.

— Что бы вы посоветовали?

— В Службу иммиграции и натурализации. Чтобы аннулировать ваше гражданство.

— Куда-куда?

— В худшем случае Министерство юстиции подаст заявление в СИН.

Преподобный помолчал.

— Не дай-то Бог, — произнес он и потрогал гибким пальцем свою булавку с распятием.

На мгновение он вновь стал грустен и властен. Возможно, то была грусть медиума или шамана, который, постоянно контактируя с ангелами и демонами, порой бывает подавлен мыслью о собственной бездарности против их сил и чар, их порчи, их сглаза.

— Единственная опасность сейчас, — продолжал Преподобный, — состоит в том, что пронюхает пресса. Помните, как было с той бедной несчастной дамой из Куинса?

Джон подождал. Он смотрел на кровати-близняшки. Потом быстро и неожиданно повернулся к Преподобному, державшему перед нами фотографию. Увидели мы ее лишь мельком: Преподобный тут же ее убрал. И слава богу. Эта фотография, этот зернистый выплеск, такой мимолетный, — я понял, что информация в ней содержится чрезвычайно важная. Фотография была черно-белой. Она говорила о силе. На ней были запечатлены двенадцать человек в очевидной взаимосвязи. Двенадцать мужчин, принадлежащих к двум представленным поровну и кардинально отличным типам. Шесть одних, полдюжины других. У одних — сила и коллективная ответственность. У других — никакой силы, полная безответственность и так себе коллектив, общность слабых и униженных. Между ними происходил безмолвный диалог. Шестеро говорили другим шестерым: что бы еще ни разделяло нас, что бы нас ни связывало, важно только одно: мы принадлежим к живым, а вы — к мертвым. Мы — живые, вы — мертвые. Покойники.

— Вот как. Все, что у них есть, — вот это, тридцатилетней давности, и два так называемых свидетеля.

— Никаких, — сказал Джон.

— Как — никаких?

— Я не совершал преступлений.

— Обычный подвох: вы ведь умолчали насчет вашего криминального прошлого?

— А-а.

— Поступил запрос о вашей натурализации в США.

— Продолжайте.

— Становится жарковато.

Я подумал, не имеет ли он в виду тот жар, в который бросило Джона. Тогда Джон смущенно отвел взгляд и сказал:

— Моя мать…

— Это для нас плюс, — оживился Кредитор.

— Родной язык.

— А, точно, припоминаю. Это у вас нет акцента. Они встали и пожали друг другу руки. Джон сказал:

— Скажу вам честно. Вчера было лучше.

— И как вы себя сегодня чувствуете, позвольте поинтересоваться?

— Преподобный отец.

— Доктор.

Мы с Джоном вернулись на свою квартиру, но поначалу в том Тодовом состоянии трудно было насладиться ее красотами (например, огромным

слуховым окном). Неплохо было бы не путаться у него под ногами. Какой-нибудь женщине, типа Айрин, рядом с ним пришлось бы несладко. Так что можете себе представить, каково было находиться у него внутри.

Затем позвонил Преподобный и поделился новостью о надвигающейся грозе, и я подумал было, что именно это мы меньше всего хотели бы от него услышать. Но в итоге все как-то на удивление обошлось, небеса не разверзлись. День прошел в приятном одиночестве. Телевизор, газета, решение мелких бытовых проблем: измельчитель кухонных отбросов, ноготь на ноге, пуговицы на рубашке, лампочки. Самосознание, оказывается, *не невыносимо*. Оно прекрасно: вечное творение, распад ментальных форм. Покой… Ближе к полудню Джон стал вести себя весьма знакомым образом: потягиваться, почесываться и довольно вздыхать. Это значило, что он собирается на работу.

Я мог лишь наблюдать за тем, как он меняется. Нагрудник с короткими рукавами, белый халат. Я поискал взглядом черные сапоги. Нет. Лишь белые сабо на деревянной подошве. К чему они? Теперь Джон был чист, бодр и готов к жизни.

Он прошел пять кварталов, и никто не пытался

его остановить. Небо не пролилось над его головой, толстощекие облака не надулись от горя. Равно как и земля: асфальт не разверзся, чтобы поглотить его или похоронить. Да и ветер не дышал дьявольским ураганом, а веял легонько и нежно. Могу засвидетельствовать лишь отчаянный детский плач, перепуганный взгляд чернокожего бомжа на перекрестке Тринадцатой и Седьмой и то, как всю дорогу прохожие, казалось, шарахались от нас, даже те, одетые в форму (которые за что-нибудь отвечают), словно говорили: «Не обращайте на нас внимания. Мы просто разбираем здания», или «Мы всего лишь разжигаем пожары», или «Мы просто колупаем автострады», или «Мы всего лишь разбрасываем мусор». Вот оно, здание с дежурными, носильщиками, секретарями, санитарами с носилками и каталками, — и все нас знают. Доктор Янг. Ведь мы — мы, мы, мы! — разрушаем человеческие тела.

Я прихожу к выводу, что в такое время душа может лишь повиснуть во мраке, как белая летучая мышь, и не сопротивляться тьме. Тело чем-то занимается где-то внизу, машинально напрягая волю и мышцы, а душа тем временем ждет. Можно с уверенностью заявить, что *это оно*. Это и

есть состав преступления из снов Тода Френдли, Джона Янга, где полутрупы стоят шеренгой, а фигура в белом халате источает силу, жестокость, и красоту, и что-то совершенно неописуемое. Но сны лгали. Я полагал (я был уверен), что наши прегрешения выразятся в чем-то вроде ухода. Я думал, что мы уйдем из страны, из общества, образовав свою собственную новую вселенную. Я, конечно, никогда не представлял Тода Френдли ведущим *преступную жизнь*. А вышло все то же самое, только хуже, больше и дальше. Я хочу сказать, где же предел? Укажите мне последний рубеж греха. Чего безусловно нельзя проделать с чужим человеческим телом? Мне уже не в новинку. Похожей дрянью занимались в АМС, а если разобраться, то же самое творилось в городе повсюду: в Св. Марии, в Св. Андрее, в Св. Анне. Повсюду и со всеми. Больница для всех. Даже на минуту нельзя сделать вид, будто не знаешь, что творится. Вон поехала «скорая помощь», с визгом, чтобы все слышали, с крутящимися, как лассо, огнями: смотрите, мы гоним перед собой все ужасы ночи. За границей оранжевой ленты, ограждающей место происшествия, очерчены мелом контуры человеческого тела. А вот и мы, в рабочей форме, принесли и калечим человека.

Расступись, народ, не вмешиваться! Дайте нам исполнить свой долг.

Тепловатый больничный воздух гудит и пахнет человеческими органами, под шумок удаленными или по ошибке законсервированными. Мы, врачи, движемся между потолком и полом, между газосветными лампами и квакучим линолеумом. В коридорах как под новокаином: нравственно мы словно онемевший в кресле у дантиста язык, рот распахнут навстречу инструментам пытки, но нем. Только глаза мои видны в операционной. Мужчины здесь покрывают волосы бумажными шапочками, женщины — косынками. Я ношу туфли на деревянной подошве. Почему на деревянной? Я одет в хирургический халат, руки обтянуты резиновыми перчатками. На мне маска грабителя. Фонарик у меня на голове подключен к трансформатору, стоящему на залитом кровью полу. Провод спускается по спине под халатом и вьется сзади, как хвост обезьяны, как хвост врага рода человеческого. Нашим глазам видны лишь глаза остальных присутствующих. Жертва под белым покровом не видна вовсе, за исключением того куска, над которым мы работаем. Когда все заканчивается, мы скоблим под краном руки, как законченные невротики. Плакат над зерка-

лом повелевает: Каждый Ноготь Промывается Пятьюдесятью Движениями. Кончики Пальцев Держатся Выше Локтей. Каждое Движение Выполняется Вперед и Назад. У Каждого Пальца Четыре Стороны. А затем — холодный свет раздевалки, плетеный коврик и стальные полки, чаны, как в прачечной, и мощнейшие на свете мусорные баки, из которых мы выуживаем загодя перепачканные инструменты. В травмпункте всегда субботняя ночь. Всякое возможно.

Хотите знать, чем я занимаюсь? Хорошо. Появляется какой-то парень с повязкой на голове. Мы не мешкаем. Раз — и нет повязки. У него в голове дырка. Так что мы делаем? Мы втыкаем в нее гвоздь. А гвоздь — хорошенько проржавевший — берем из мусорного бака, да где угодно. Потом отводим парня в приемную, где даем ему вдоволь понадрывать глотку, пока не отправим его обратно в ночь. А нам уже есть чем заняться — мы привариваем старой бомжихе носок и пластмассовую туфлю к ее гнилой ноге. Покончив с тяжелыми случаями, мы немедленно выпроваживаем больных восвояси. *Проходной двор.* Неважно. На наш век хватит.

Мне вечно кажется, что я их знаю. Такое бывает десять раз на дню. Мне все кажется, что я знаю

их, тех, кого привозят на каталках или приносят на носилках. Погодите-ка. Вот сейчас была разве не Синтия, из кулинарии? А та женщина — уж не Гейнор ли, знакомая мне интимно? Вот этот — уж точно Гарри, привратник из Метрополитена. Все происходит так быстро. Я ничего не слышу среди этого визга и хруста ребер. Чей это был ребенок? Не тот, что перебегал дорогу тогда в Уэллпорте? Так много лет прошло. Осторожно. Дети.

А потом мир вдруг опять становится живым, человечным, он полон лиц и голосов. Все меня знают. Я не о жертвах, конечно, с ними я не знаком, и они фактически не люди вовсе, а проходят по статье интересов, так что даже улыбки, зевки и хмурые гримасы их торчат, как шила из мешка. Привычка считать, что они мне знакомы — как люди, — это ошибка, недоразумение. Мы с ними не знакомы. Всех прочих я знаю. Впервые в жизни у меня есть друзья, интересы, общие увлечения, бейсбол, например, опера, вечеринки, и я сияю от небывалой возможности пообщаться. Все эти незнакомцы знают меня. С самого начала весь коллектив здешней больницы отличался дружбой и коллегиальностью. *Espritdecorps*[5]

[5] Примечания: 5
Честь мундира *(фр.).*

высшего сорта, до идеализма. То, что называют обществом, — за нашими спинами. Мы посредники между человеком и природой. Мы солдаты священной биологии. Поскольку я целитель, все, что я делаю, так или иначе, исцеляет. А то, что зовется обществом, по-моему, безумно. В раздевалке железные решетки облеплены записками, которые гласят: «Спасибо вам за вашу доброту, за то, что помогли выстоять, когда было совсем плохо» и «Если бы не сотрудники вашей больницы, не знаю, как бы мы выжили». Врачи читают эти выражения благодарности со слезами на глазах, особенно если слова выведены детским почерком. Только не Джон Янг. Возможно, он, как и я, знает, что письма эти пишут во имя искупления — дабы заранее умаслить. Дети («7 лет») еще не поступали сюда. Когда мы закончим работу, они не будут так благодарны.

Увлечений у нас много (жизнь развернулась и наполнилась), но главное наше хобби — это, конечно, женские тела. Женские тела Джонни считает во многих отношениях гораздо более интересными, чем все остальное, вместе взятое. Он почитает женские тела не только ради одного удовольствия, не таков наш Джонни. Он почитает женские тела ради самых разных удовольствий:

любви, духовного общения, забвения, экзальтации. Женские тела выявляют все его лучшие чувства. Тот факт, что у женского тела сверху есть голова, — для него не более чем деталь. Не поймите меня превратно: голова ему нужна, ведь на ней — лицо, на ней растут волосы. Ему нужен рот, о, как ему нужен рот. Что же касается содержимого головы — ну да, Джонни бывает нужно кое-что из того, что там обитает: желание, похоть, извращенность. Если правда, что секс — в голове, тогда Джонни нужна голова.

Вначале я собирался продолжить холодно, сокрушенным тоном. Примерно так: что касается половой жизни Джонни, достаточно сказать, что за годы, проведенные нами в этом городе, он переспал со множеством медсестер. Но в том-то и дело, что недостаточно. Что бы я ни сказал в этом духе, все будет недостаточно. А насчет медсестер, между прочим, правда. Или — правда насчет тех медсестер, с которыми Джонни спал, а таких навалом. По мне, так это жуть; с моей точки зрения, просто умереть и, главное, не встать. Но они все говорят, что больницы эротичны. Кровь и плоть, смерть и власть. Надеюсь, вы видите связь. Так они примиряются с мыслью о собственной смерти. Они занимаются тем, что мы тут на земле все

должны делать: они готовятся умереть. Таким образом, доктор Янг фатально, летально, просто до смерти интересуется женскими телами. Ну чем бы еще могли быть так невероятно интересны женские тела?

Здесь, в Нью-Йорке, к этому — как и ко всему остальному в этом городе — примешивается лихорадочный оттенок насилия; здесь, в отличие от Уэллпорта, рассчитывать на эволюцию к чистоте, покою и невинности не приходится. В сравнении с этим наш прежний ритуал ухаживания — когда любовь печально расцветала на парковке или с горькими словами перед заливаемой дождем витриной — при всей своей скоропостижности кажется едва ли не великосветским. Вот, например. Он встает в два часа утра и отправляется на прогулку. Мы идем по Шестой авеню, попыхивая прозаичной папиросой, никого не трогаем — и тут вдруг Джон сворачивает на Тридцать вторую стрит, переходит на резвую рысь и на бегу начинает снимать штаны… Представляете? Эти штаны болтались у него на коленях, когда он вломился в двери какой-то многоэтажки, и на уровне щиколоток, когда он с разбегу преодолел первый лестничный пролет. В квартире мы забежали сразу же в ярко освещенную спальню — и оберну-

лись. Должен сказать, что ситуация не очень-то располагала. Женщина в постели, правда, была. Но здесь же был и мужчина. Совершенно одетый, огромный, в полночно-синем сержевом костюме и фуражке, он склонился над ней, опершись коленом, и размеренно, как маятник, хлестал ее по лицу рукой в толстой перчатке. Нет, это совсем не напоминало то, к чему мы привыкли. Джон осторожно стянул с себя носки и рубашку. Надо отдать ему должное: хладнокровия он не теряет, варианты просчитывает. Потом мужчины неловко обошли друг друга, и Джон как-то неуверенно полез в постель. Тот тип уставился на нас, и на его рыхлом лице обозначилось потрясение. Затем он рявкнул что-то и отправился восвояси, впрочем, у двери он помедлил и заботливо притушил свет. Лестница загудела в такт его удаляющимся шагам. Женщина вцепилась в меня.

— Мой муж! — объяснила она.

Нам-то что? Джон тут же ей вдул, без всякой прелюдии. Без всяких поглаживаний по волосам, вздохов и печальных взглядов в потолок, обойдется. Не отдохнув, не похрапев предварительно, с этой цыпочкой все было иначе… Вскоре она получила работу в больнице. Сестра Дэвис. Мы все еще трахаемся. Ее муж Деннис — ночной сторож.

Она все время твердит, как, мол, здорово, что Деннис ничего не знает, и она надеется, что он никогда не узнает. Да что с ними такое, с этими людьми? Наверное, они помнят только то, что хотят помнить. По-моему, в нашем случае мы с Джоном должны хлопнуть по рукам и вознести убогую хвалу человеческому таланту забывать: забвение — это порой не размыв и порча, но активная деятельность. Джон забывает. Медсестра Дэвис забывает. Забывает ее муж Деннис, подрагивая от холода по пути на работу, когда идет сторожить ночь.

Скорее из чистого педантизма я пытаюсь найти связь между этими двумя интересами, двумя видами женских тел. Одно тело развалилось на ковчеге из подушек — уютно взъерошенное, источая аромат свежей сдобы (тут вы от меня возражений не ждите: женщины *действительно* прекрасны); другое тело, холодное и плоское, лежит на столе, и кровь стекает с краев столешницы, пламенея как закат. У Джона встает в обоих случаях. Он, наверное, думает: вот еще одна. Еще одно лицо со свадебным шлейфом волос. Еще одна потрясающе мощная ляжка. Еще одна матка.

С детьми на педиатрическом отделении, где никогда не гаснет свет, где маленькие жерт-

вы, которых мы терпеливо уродуем, лежат напичканные лекарствами, несчастные и нетерпеливые, — с детьми Джон оперативнее всего. Он проносится по отделению с застывшей, как у скелета, улыбкой, выхватывая у детей игрушки и леденцы. Никаких эмоций. Его пронимают только мужчины. Даже забавно. Он смотрит им в глаза таким взглядом, будто исповедуется. Признается в том, что у них есть право, которое он сейчас попирает. А в чем оно, это право? Это право жить и любить.

Джонни словно бы чувствует: с мужчинами врачебный номер может и не пройти. Мужчины представляют угрозу главной врачебной тайне — тайне обладания некой властью; ведь если власть не используется, она становится неуправляемой и оборачивается против самих врачей.

Картер являлся исключением, как в этом, так и во всем остальном, но вообще-то я привык считать себя примерно одного возраста с правящим президентом США. Люди говорят, что я похож на Джерри Форда, хотя сейчас я гораздо лучше выгляжу, во всяком случае, я был моложе ЛБД, но я

определенно старше ДФК,[6] который даже симпатичнее меня. ДФК — его привезли из Вашингтона; поднятый на ноги докторскими скальпелями и снайперскими пулями, он проехал по улицам Далласа, и народ приветствовал его как героя.

Несмотря на годы постоянного разоружения, сейчас все вновь заговорили о ядерной войне, и даже серьезней, чем раньше. Эх, если бы я мог угомонить их. Ее не будет. Ну-ка, представьте себе, какие для нее нужны приготовления. А никто к ним даже не приступал. Никто не готов к ней.

Помните панков? Вот они были готовы. Как они экспериментировали на собственном лице с умерщвлением плоти — пирсинг, замогильная бледность. Все началось с панков. Они-то были готовы. Но они исчезли десятки лет назад.

Хочу рассказать об одном небольшом эпизоде.

Сижу это я в приемной на отделении «Питер Пэн», точу лясы с медсестрой Джадж. В комнате еще одна женщина, некая миссис Голдман. Поскольку она женщина, Джон время от времени на нее поглядывает: все-таки женщина. Но она к

---

[6] Примечания: 6

Джеральд Форд (р. 1913) —38-й президент США (1974–1977). ЛБД — Линдон Бейнс Джонсон (1908–1973) _ 36-й президент США (1963–1969). ДФК — Джон Фицджеральд Кеннеди (1917–1963) — 35-й президент США (1961–1963).

тому же еще и мать: у ее ног младенец, и имеется еще один ребенок, девочка трех лет, которой мы решили уничтожить бедра. Девочка лежит на отделении «Питер Пэн», вся нижняя половина тела у нее в гипсе. Лежит уже три месяца — это долгосрочный проект… Миссис Голдман читает журнал, ребенок возится у ее ног. Мы уже встречались с этой парочкой. Малыш быстро уменьшается и уже ползает-то едва-едва, но надо видеть, как он старается. Стоп. Минутку. Ребенок ползет, с боем одолевая каждый дюйм, — но он ползет *вперед*. Да и мамаша с журналом: она читает, вернее, просматривает *с начала* — глянцевые страницы шуршат перед ее лицом. Ох! Господи, когда же я в последний раз?.. Однако этот светлый миг очень быстро заканчивается. Миссис Голдман опять читает задом наперед, а малыш просто плачет. Хочет, чтобы ему подгузник поменяли, или голоден. Да, хочет новый подгузник из урны, полный, со свежими какашками. Это у меня срыв. Нужно взять себя в руки. Я все жду, что в мире появится осмысленность. Но она не появляется. И не появится. Никогда.

Надо очерстветь душой к боли и страданиям. И побыстрее. Последний срок — прямо сейчас.

Чисто по-человечески без этого необходимого

условия мы бы не выдержали и получаса. Доходит просто до гротеска. Среди нагретого кафеля и металла в раздевалке или возле бумажных стаканчиков и банок кофе в подсобке — вот он, Джонни, и весь халат у него в совершенно жутких пятнах. Жертв своих мы зовем жмуриками, кусками и тушками, а еще уродами и донорами для трансплантации.

— Не то что толстуха. Смотрел толстуху?

— А, да она еще ничего.

— Смотрел ту, размазанную?

Не бог весть какая добродетель, но хочу отметить: Джон Янг не получает удовольствия от своей работы. Эмоции приглушены, он словно в защитном костюме. И это несмотря на то, что он добровольно остается на сверхурочные часы. Мнения о нем разные: он «невероятно предан делу», он «козел отпущения», он «святой», он «хренов псих».

— Что же, — говорит Джон, слегка пожимая плечами, — делаешь то, что делаешь лучше.

Джонни покрепче прочих братьев и сестер-врачей. Они вечно мямлят и колеблются. Джонни не нужно подбадривать — он сам кого хочешь

подбодрит. Вот Байрон с внешностью Блуто,[7] с широкой черной бородой и поросшими буйной растительностью плечами.

— Рассказывай, Байрон.

— Джонни, послушай. У меня ничего не получается.

— А кто сказал, что будет легко?

— Я не гожусь для всего этого дерьма.

И так далее. Не помогает. Поговорив с Джонни, они всякий раз чувствуют себя еще хуже. Байрон проваливает, очень волосатый, очень чистый, ломая руки, ну в точности паук в зеленом спецкостюме.

А тело там, под нами, все время такое усталое. Конца и края не видать. Много работаю с Витни. Кто такой Витни? Тридцать два года, высокий, пухлогубый, пучеглазый, очень сметлив, но некультурен, по верхам нахватался — такой вот он, Витни. Он думает, что крутой, все толкует про Корею, мол, какая фигня эти наши дела по сравнению с тем, что было там. Так, ничего особенного. Был тут один случай с Витни, когда — ох, прямо не знаю! — ну, ладно. Мы, значит, только что уделали двух подростков. Их привели матери, а потом

---

[7] Примечания: 7

Главный отрицательный персонаж комиксов и мультфильмов о морячке Пучеглазе.

свалили куда-то сразу после того, как мы начали работать, задержались только посмотреть на методичное разматывание окровавленных повязок. Мы вскрыли швы и измазали парнишек кровью. Помню, как Витни ловко вставил в рану что-то вроде арбалетной стрелы, а я загонял другому парню осколки коричневого стекла в макушку. И мы оба, как говорится, *животики надорвали*: хохотали в голос, выразив наконец зубами, языком и миндалинами черный юмор, который прячется со своими ужимками за всем, что мы тут делаем. Наш смех сливался с криками и стонами мальчишек. Да уж. А Витни подходит к моему и говорит: «А это у тебя стекляшки, чтобы воры не залезли? Не башка, а каменная ограда». Или что-то в этом роде; казалось, мы оба так успокаиваемся. Юмор все-таки помогает держаться, даже когда уже давно в штаны наложил. Наше веселье скрывало страх, конечно, страх — от сознания своей хрупкости. Наше собственное увечье. Кто может причинить его? Как нам уберечься? Вскоре мы с Витни уже орудовали ножовкой и долотом, приделывая нелепо изуродованную ногу к какому-то незнакомому закутанному телу в районе бедра, в пелене кровавого дождя и костяного снега.

Город — город исцелит их лезвием ножа, авто-

мобилем, полицейской дубинкой, пулей. Локальные вспышки любви и ненависти. Оборванные кабели и порушенная кладка телекинетического города.

На втором этаже располагается прачечная, место спешных свиданий и перепихонов, миссионерских, коленно-локтевых и коленотрясучих (то есть встояка). Я бывал там с сестрой Дэвис. Сейчас я иду туда с сестрой Тремлет.

На четвертом этаже есть две послеоперационные палаты, там тоже нормально. Я ходил туда с сестрой Кобретти. Надеюсь скоро сходить туда с сестрами Сэммон и Букер. Иногда я даже не утруждаю себя снять измазанный и поношенный халат. Просто сбрасываю деревянные сабо.

Есть тут одна медсестра — сестра Элиот, которая вечно ехидничает в мой адрес, избегая встречаться взглядом. Вчера в лифте чуть слышно она назвала меня тормозом. Мне знакомы эти симптомы — когда женщина вола крутит. Она только что прошмыгнула в прачечную. Через пару минут я вхожу за ней следом. Она стоит у окна и прихорашивается, глядя в серебряную пудреницу. Я направляюсь к ней с трясущимися коленками.

Джон будет навещать этих медсестер, проводя по нескольку часов в их квартирках и меблированных комнатах, в спальнях и гостиных, но лишь немногим, весьма исключительным, удается добраться до его симпатичной квартирки. С этими весьма особенными медсестрами стиль любовных отношений Джона заметно отличается. Этот стиль я бы назвал в первую очередь *дотошным*. Можно считать его возвращением к прежнему методу, однако подкрепленному возросшей выносливостью. Существует словно бы обязательный список всего того, что ему потребно выделывать. Все, что можно сделать, будет сделано — и обычно сразу же. Он словно обыскивает их тела. Он словно исследует их, ища неведомые доселе отверстия и расщелины.

А угадайте-ка, кто начал к нам заглядывать, сперва изредка, но потом регулярно, пару раз в месяц? Айрин. Джон отнесся к этому довольно спокойно, а для меня это была мука сладчайшая, особенно поначалу. И вот ведь странная штука: я считал, что сумел забыть Айрин. Я уже не думал о ней так много, ну, может, несколько раз в день, да иногда она мерещилась мне то там, то сям, на улице, в автобусе, в гастрономе, в больнице, на самолете, пролетающем в пяти милях над

головой. Забыть Айрин? Ага, щас. Может быть, предопределение, как говорят, все-таки существует, и первая любовь никогда не забывается. А тут еще это отягчающее, просто кошмарное обстоятельство. *Ненавижу*, как он с ней обращается. Ему она — как бы это сказать? — слишком быстро сдается. Просто мгновенно сдается. Ее покоряет самый утомленный взгляд, самая бледная улыбка. Ситуация просто невозможная. Джон не *дотошен* с Айрин. Она была бы так счастлива. Пресловутый треугольник. Я люблю ее, но она любит его, а он никого не любит. По ночам она лежит, заброшенная, моргая от обиды. Джон лежит, свернувшись калачиком, лицом в другую сторону. *Умереть*, как я ее хочу.

Годы пощадили Айрин, хотя она и теперь куда старше и помятей, чем самые запущенные из наших медсестричек. Это у меня защитный механизм: стараюсь думать об этом и о других ее изъянах. Да, я постоянно и безуспешно пытаюсь настроить себя против нее. Она, конечно, могла бы быть поаккуратнее в квартире, которая обычно вылизана к ее приходу. Тут я на стороне Джона. Мы терпеть не можем пыль и грязь, потеки в ванне и всяческую нечистоту вообще.

На последнее свидание Джон и сестра дель

Пуабло пошли в музей Метрополитен. Джон к живописи равнодушен, и финансового стимула там нет, но он чувствует, что этого ждут от него медсестры и гидра из камня и стали, называемая обществом. Как и литература, живопись словно намекает на существование перевернутого мира, в котором, если можно так выразиться, стрела времени направлена в другую сторону. Невидимые траектории предполагают совсем другую причинную связь и последовательность действий. Опять эта мысль. Она всегда вызывает у меня смутное беспокойство. Я вот что подумал: может, вообще со всем искусством так? Но к музыке, во всяком случае, это не относится. К опере, например: там все ходят задом наперед и орут дурными голосами.

На каждое Рождество мы получаем открытку от Преподобного с сообщением, что погода устойчивая. Ну, погода бывает разная. Но я понимаю, что он имеет в виду.

Больница похожа на перманентный ноябрь. Сюда приходят в дождь и в ясную погоду, сюда идут при любом прогнозе, но когда их проглатывают хлопающие двери, всё становится отчаянно, безнадежно серым. По вечерам облака в этих окнах выглядят как бинты и вата.

Все осмысленные страдания жертв, грезы тех, кого никто не слушает, умоляющие взгляды — всё сметает яростный ритм больницы.

«Вы делаете доброе дело, доктор», — твердят мне наперебой. Но я не согласен. Я изнемогаю от чувства протеста. Если бы я умер, он бы остановился? Если я — его душа и душу можно было бы утратить, убить, остановило бы это его? Или только освободило?

Я не увлекаюсь подобными парадоксами — если это парадоксы — и не жду, чтобы все — или хотя бы кто-нибудь — меня поняли. Но с собой покончить невозможно: не в этой жизни. Мне приходила мысль о самоубийстве. Но раз уж жизнь идет, ее не остановишь. Вы не вольны сделать это. Все мы здесь на полный срок. Жизнь *обязательно* кончится. Я точно знаю, сколько мне осталось. Еще целая вечность. Я чувствую себя уникальным и бессмертным. Бессмертие поглощает меня — и лишь меня одного.

Из огня рождается рождественская открытка Преподобного. На каминной решетке у Доктора.

На углу Восьмой стрит и Шестой авеню каждое утро образуется круглая лужа хлебной тюри, похожая на огромную лепешку пиццы или на блевотину, дожидающуюся, что вот-вот явится

и подчистит ее какой-нибудь пьяный великан или собака-мутант, которую саму тошнит от собственных размеров. Нет. По черным сходням пожарной лестницы спускается старая дама, устало собирает все это в бумажные пакеты и карабкается домой: ей оставляют пищу птицы.

По утрам в понедельник в кабинете доктора Гочкиса на девятом этаже у нас проходит клинико-анатомическая конференция. Врачи по очереди осматривают пораженные органы, передавая их друг другу на обеденных пластмассовых подносах.

Джон стал более приемлемо относиться к Айрин. После нескольких неудачных попыток, за которыми последовал краткий (заполненный медсестрами) период отчужденности, а потом крупная ссора, он восстановил сексуальный фундамент в их отношениях. Оказалось, я совсем не так рад этому, как предполагал. Ревность — мне она в новинку, и она достаточно ужасна.

Должны ли мы сделать невероятный вывод, что сердце Джона наконец-то оттаяло от любви хорошей женщины? Вдобавок женщины толстой, в годах, которая все прощает и приглядывает за нами, когда мы спим, которая — давайте посмотрим правде в глаза — больше походит на

мать, чем на любовницу? Поворотная точка, или момент истины, наступил, когда Айрин раскрыла свою «тайну». Сами слова ее тогда нарушили долгое молчание.

— Девочка, — сказала Айрин. — Она теперь у приемных родителей. В Пенсильвании. Я не могла за ней ухаживать. Хотела покончить с собой.

Джон фыркнул и сказал:

— Да и у меня тоже.

— Я тебе никогда не говорил. У меня был ребенок.

Она лежала в постели, печально глядя в потолок. Ну, а потом пошло-поехало.

Это парадоксально, потому что Джон не любит женщин с детьми. У них могут быть мужья. У них может быть сколько угодно хахалей. Но только не дети. Когда он случайно заговаривает с женщинами, у которых есть дети, это практически первый вопрос, который он им задает, — первая проверка, которую им нужно пройти. И ничего у них не выходит. Множество медсестер, уйма сестричек, много замужних женщин. Но ни одной мамаши. Мы все трое знаем, что у Джона есть тайна. Но только один из нас знает, в чем она состоит. Он не раскрывает ее, и это, наверное, самое лучшее, что можно сделать с тайной.

Время идет. Автомобили все монструозней и малочисленней, своими плавниками и крыльями они откровенно подражают животным.

Пропали одноразовые шприцы. В больнице все больше упор на собственные силы и изворотливость. Мы используем даже пипетки, а это так негигиенично. Прекратили производство искусственного хлопка, слишком накладно.

Положение врачей в обществе выше, чем когда-либо. Мы идем по жизни, задрав нос, уже не страшась суда.

Не видно больше велосипедистов в этих докторских масках. Не слышно предупреждений астматикам и аллергикам в дни, когда начинает лететь пыльца.

Все курят, пьют, распустились. Ущерб никто не подсчитывает.

На прошлой неделе у меня забрали цветной телевизор. Дали черно-белый. Я заработал на этом деньги, но когда включил его, то сразу подумалось: о-хо-хо. Куда смотрит общественность?

На самом деле, общественное мнение как сила не существует уже давно. Невозможно точно сказать, когда это произошло. Вот помню, после полета на Луну у каждого в голове словно лампочка выключилась, мир вдруг стал уютнее,

меньше, замкнутее. А вот общественное мнение, наоборот, исчезало медленно. Как чувство стыда за плохие зубы. Повсюду видишь жуткие людоедские улыбки, но никто не обращает внимания. Людей уже не так волнует, как выглядят другие. Так что можно быть таким, какой ты есть, не обращая внимания на тех, кто обращает внимание на тебя.

Одежда стала целомудренней. Все становятся целомудреннее, не память, а решето. Сентрал-парк стал чище, но не стал безопаснее. Нас стало меньше.

Теперь представьте меня в операционной, на черном кафеле, под палящими огнями, с легкой головной болью и вялой эрекцией, как я засовываю опухоль в человеческое тело. Я позволяю себе минутку передохнуть на кожаном велосипедном сиденье, жестко закрепленном на хромированной ножке. Операционная медсестра, сестра дель Пуабло одаривает меня взглядом. Это все, чем она может одарить меня в хирургической чадре. Я с ней спал. Байрон и Витни — тоже. Сестра дель Пуабло законно пользуется широкой известностью за свои умелые руки, жаркие бедра, мягкие губы, красивый живот, частую оторопь и редкую злоебучесть.

Я хочу закрепить эту опухоль красиво и прочно. Говорю:

— Ланцет… Катетер… Отсос… Зажим. Ночью больница поскрипывает и жужжит, сортирует и выбраковывает.

Большую часть жизни мы сами себе врачи. Не в старости, когда все немеет и мертвеет, когда правила приличия и отвращение препятствуют осмотру. И не в юности, когда тело — неизведанный восторг. Подходящее время посередине.

Вот они, в кафетериях и автобусах, гадая и морщась, сами себе врачи, знахари и психотерапевты, диагносты и анестезиологи, сами себе безмолвные консультанты.

Целитель, исцелися сам. Не пытайся исцелять других. Оставь их в покое. Пусть себе.

Если бы ко мне пришла на прием нравственная жизнь Джона, я бы сказал:

Налицо аномалия прикуса и двоение в глазах. Пульс нитевидный. Аускультация показывает нарушение дыхания, сильные влажные хрипы, а также одышку с подозрением на медиастинит. Осмотр глаз выявил косоглазие и нистагм, а также артериовенозный анастомоз и склеротические бляшки на глазном дне. Рот: слизистая

оболочка щек повреждена, а ротовая часть глотки воспалена. Сердце дрожит, скрипит, чихает и кашляет. Систолический шум с обеих сторон грудины. Психическое состояние: тревожное, скоординированное; память, способность критически оценивать ситуацию, настроение — в норме.

А с коек и каталок тем временем беспокойно смотрят жертвы.

Теперь в городе любой желающий может увидеть звезды, а не просто слабые намеки там или сям. Нет, самый что ни на есть открытый космос. Большинство ведет себя так, будто звезды всегда были видны. Им кажется, в этом нет ничего особенного. Но Джон, как ни странно, любит звезды. Его взгляд блуждает по небосводу, созвездиям, скоплениям. Он показывает эти прославленные пятнышки в ночи медсестричке, воркующей у него на руке, и педантично объясняет расстояние от звезды до звезды — и от каждой из них до Земли. Любопытно. Вон те две, кажется, что близняшки, в полдюйме друг от друга, а на самом деле их может разделять бездна световых лет, сближает их только то, под каким углом мы на них смотрим. Одна — карлик, другая — гигант… Медсестры улыбаются и слушают вполуха, думая

о вещах не менее фантастичных, но гораздо более приземленных. А я — я весь обращаюсь в слух. Для меня звезды как соринки, просто скопления пыли. Но я чувствую их жар. Как они жгут мне глаза.

Некоторые интрижки теперь начинаются с медицинских процедур. Джон начал брать работу на дом. Негде спрятаться. Невозможно поболтаться где-нибудь в темноте.

Эти будущие подруги приходят без лишнего шума. Джон, готовившийся к их приходу, без лишнего шума отпирает им дверь. Им зябко, и, немного отдохнув и поплакав, они взбираются на расчищенный стол. Принимают классическую позу, раздвинув ноги, хотя Джон, конечно, занят чем-то другим, возится с наполненным стальным тазом. Прямоугольная плацента и ребенок в полдюйма длиной, с сердцем, но без лица, имплантируются с помощью щипцов и зеркала-расширителя. Он каждый раз говорит женщинам, чтобы те не шумели. Им *нельзя* шуметь. Втекает целый таз крови. Затем — пальпирование и мазок тампоном. Теперь можно слезть со стола, что-нибудь выпить, поболтать шепотом. Они прощаются. До скорой встречи. Недель примерно через восемь.

Я прихожу к выводу, что это и есть младенцы-бомбы из снов Тода Френдли. Все сходится. Младенцы, так сказать, беспомощно могущественны. Так вот какой властью они обладают: смертельно важно, чтобы никто не узнал об их существовании. Есть, конечно, и нестыковки: наяву молчать обязана мать, а не дитя. Младенцы ж эти не способны издавать звуки: у них есть сердце, но нет лица, нет горла, нет рта, чтобы кричать. Но во сне всегда так, ведь правда. Сны живут по своим, неправильным правилам. В конце концов, Джон Янг, ежедневно вздымающий вьюгу человеческих душ, — Джон Янг носит белый халат, но черных сапог у него нет. Он ходит в спортивных туфлях, или в кожаных мокасинах, или еще вот в этих своих деревянных сабо.

Поблизости завывает, как спятивший младенец, сирена, пронзительней и пронзительней, и вот скорая помощь проносится мимо и исчезает в лабиринте улиц.

Попросту говоря, больница — это ситуация, порождающая жестокость. За жестокостью неизбежно последует новая жестокость. Как будто свежее зверство так необходимо, чтобы оправдать предыдущее. Словно предыдущее зверство было нужно, чтобы оправдать то, которое вскоре

последует. Только остановишься — и… Но остановиться невозможно.

Зверство за зверством, а потом новое зверство, еще и еще.

Я рад, что фактически не мое тело касается чужих тел. Я рад, что это опосредовано *его* телом. Но как бы я хотел иметь собственное тело, послушное моим командам. Если бы только у меня оно было, тело, просто инструмент, чтобы ощущать усталость, плечи, чтобы их сутулить, голова, чтобы запрокинуть ее, подставив лицо солнцу, ноги, чтобы волочить их, и голос, чтобы стонать, вздыхать и хрипло просить прощения.

Ничего не понимаю. Айрин еще приходит в наш дом, но, кроме этого, мы с ней больше не встречаемся, разве что случайно. У нее жизнерадостный вид, похоже, ей полегчало. Дважды в неделю она мстительно наведывается, чтобы напылить в квартире, перепачкать посуду и измять постель. Она оставляет на кухонном столе доллара четыре — хотя нет, теперь уже три пятьдесят.

Я не понимаю. В больнице мы выплачиваем компенсацию нашим жертвам деньгами. Я плачу больнице. Айрин платит мне. Я чего-то не понимаю. Мы что, все рабы? Или даже хуже, чем рабы?

Они бы мне не поверили, даже если бы я мог сказать. Они бы гадливо отвернулись с презрением.

Я как принесенный из туалета младенец. У меня есть сердце, но нет лица: нет глаз, чтобы плакать. Никто не знает, что я существую.

Мы что, ведем войну, воюем со здоровьем, жизнью, любовью? Положение мое мучительно. Каждый день — каждую дозу бытия — я вижу лик страдания. Лик его свиреп, бездушен и стар.

Может быть, существует простое объяснение той невыносимой усталости, которую я испытываю. Совсем простое объяснение. Это смертельная усталость. Наверное, я устал быть человеком, если я на самом деле человек. Я устал быть человеком.

Часть вторая

ГЛАВА 4
Делаешь то, что делаешь лучше, а не то, что лучше делать

Мы отплыли в Европу летом 1948 года — в Европу, на войну. Я говорю, «мы», но к тому времени Джон Янг прекрасно обходился и без моего участия. Разветвление произошло примерно в 1959 году, или даже раньше. Я продолжал все так же тихонько жить внутри, предоставленный собственным мыслям. Мыслям, свободно перемещавшимся во времени.

Наш корабль гудит всеми европейскими языками, а над ним огромное небо с перисто-кучевым зверинцем — снежные барсы и белые медведи. На нижней палубе — там, где все люди, — царит счастье, безумное и всеочищающее. У счастливого человека лицо стремится занять определенный угол, который, вероятно, можно замерить — градусов тринадцать от горизонтали. Кроме того, счастье неотрывно от своего рода бешенства: это бешено используемое право на жизнь и любовь. Джон Янг всегда особенно элегантен, когда прогуливается утром и вечером по нижней палубе,

попыхивая папиросой, помахивая тросточкой с набалдашником из слоновой кости, цокая лакированными штиблетами. С некоторым отвращением фланирует он по нижней площадке, мимо семейных выводков, молодых мам, детского плача. Детский плач: мы все понимаем его, на любом языке. Все вдруг обзавелись хотя бы одним ребенком. Словно для того, чтобы наготовить их побольше, пока снова не разразилась война.

Поначалу наше путешествие имело сходство с ускользанием, напоминало побег. С моря за этим наблюдали миллионы сверкающих глаз, миллионы свидетелей нашего побега. Если не считать желания, чтобы он попался в лапы правосудия или чего-то в этом роде, я мало что замечал и почти не интересовался тайными и тщательными приготовлениями Джона к путешествию — состоялся, например, ряд бесед с Преподобным Кредитором. Очнулся я, только когда мы отправились паромом на Эллис-Айленд. Конечно, я уже за несколько месяцев до этого начал смутно догадываться о вероятности больших перемен, судя по тому, что творилось у Джона с кожей. Поначалу она приобрела желтоватый оттенок, потом, посреди холодной весны, сменила все оттенки от бутербродной горчицы до арахисово-

го масла. «Батюшки, — подумал я. — Желтуха». Потом только сообразил: это же загар. Затем сопоставил одно с другим. Люди часто становятся такими перед стильным отпуском в экзотических местах. Да, надо же было такое вообразить: чтобы Джон заболел и слег. В его теперешней силе есть что-то дикарское и безвкусное. Что-то хищное и неизлечимое. Белки глаз его блестят, как свежий иней. Торс Джона чем-то напоминает его же собственную сверхчеловеческую эрекцию. В любую секунду Джон может без предупреждения броситься на пол и сделать сотню отжиманий. «Девяносто девять, — только и слышишь, как он педантично бормочет. — Девяносто восемь. Девяносто семь. Девяносто шесть». Даже обедая за капитанским столиком, он все время тренирует мышцы и сухожилия. Ноги его так и приплясывают под столом. Его тело вибрирует даже сильнее, чем корабль. Война начнется в назначенное время, как матч. Ему тридцать один год.

У нас есть собственная каюта на палубе «А», арена многочисленных приседаний и наклонов. На палубе «Б» бывает еще общая зарядка, которой руководит Джон на пару со смуглым казначеем по имени Тольятти. Мы играем в «паяца» и в перетягивание каната. Между прочим, по утрам

и вечерам, на прогулке (костюм, тросточка), весь народ норовит собраться на носу корабля, чтобы смотреть, как обычно, туда, откуда отбыли. Только Джон неизменно оказывается на корме, глядя туда, куда мы направляемся. Маршрут корабля четко прочерчен на поверхности воды, он бешено поглощается нашим движением. Так что мы не оставляем на океане никаких отметин, как будто все время умело заметаем следы.

Кажется, все более или менее обошлось. В эмоциональном плане Джон на высоте: он чувствует чудесное облегчение. Но если бы на столе или на каталке интенсивной терапии оказался я — глубоководное пятнышко на экране осциллоскопа (как забытый шифр), тяжелое дыхание в маске, — я бы держатся на волоске, через пень-колоду. Мне это дорогого стоило. Я подошел слишком близко, слишком долго находился подле страдания и обонял его зловонный отравленный выдох; лик его свиреп, бездушен и стар. Тепловатый гул больницы — я помню *все*. Воспоминания об одном дне займут день. Чтобы вспомнить год, потребуется год.

Судовым турбинам что-то нездоровится. Они давятся, кашляют и отрыгивают. Дым, которым питаются наши трубы, слишком густой и черный.

Капитан-грек за обедом наносит визит вежливости и долго извиняется на своем ломаном английском. Частенько мы по нескольку дней кряду лишь беспомощно качаемся на волнах или описываем большие круги по часовой стрелке. Чертовы чайки летают задом наперед у нас на пути, словно передумали падать с неба. Джон дымит как пароход, но людям, по-моему, все равно. Мне уже почти нравится это подвешенное состояние, вдали от суши и возможности причинять вред. По ночам, когда нетерпеливое тело Джона спит, я слушаю, как волны небрежно плещут о борт затихшего судна.

Плеск моря очень приятно слушать, но он неискренен, лживо-льстив, лживо-льстив.

После всей этой новой фитнес-программы Джона, целебного атлантического воздуха и прочего я лично ожидал хоть какого-то, пусть и не самого радикального обновления. На деле его не произошло. И все же я не мог не поддаться, хотя бы в душе, экстазу всеобщего ликования, когда мы вошли в лиссабонский порт; и даже Джон сдержанно позволил заключить себя в несколько пахучих объятий. Но затем корабль несколько часов бесцельно простоял, окруженный собственной морской пеленой нетерпения

и беспокойства. Я безвольно глядел на смертоносную от нефти воду, в которой не смогло бы выжить ни одно существо, и на приветственные стаи портовых птиц, паривших вокруг, как тропические рыбы. После этого яркость восприятия и воля вновь притупились. В общем, я вырубился в общей сложности как минимум на неделю, пока Джон устраивался в гостинице и носился по городу, собирая и раздавая бумаги, разрешения, жир с ладоней и тому подобную дрянь, с которой приходится иметь дело, чтобы обзавестись новым именем. Мы преодолели все это, разжившись в итоге наемным шофером, кучей денег и шикарным, без дураков, именем: Гамильтон де Суза. Я прихожу к выводу, что эта постоянная смена личин — личная слабость Джона, Тода, Гамильтона, а не общечеловеческая. Однако взгляните в окно. На эти изрубцованные улицами холмы, буйство парков за изгородями, на этих людей. Эта толпа обязана обзавестись псевдонимами, кличками, ном-де-герами.[8] Такими, что вскоре потребуются на войне. Мы уже сменили три имени. Похоже, у нас это неплохо выходит. Хотя у некоторых людей — это видно по лицам, — у

[8] Примечания: 8
Nom de guerre *(фр.)* — кличка, псевдоним; *досл,* военное имя.

некоторых вовсе нет имен.

Мы с Гамильтоном, кстати, сейчас неплохо устроились на симпатичной вилле: у нас три служанки, садовник Толо и собака Бустос. Вилла располагается в неглубокой долине чуть севернее Редондо. Прислушайтесь: легкая аритмия колокольчиков на ошейниках — это идут козы, их ведет крестьянин в белом. Козы тоже белые, такая маленькая паства душ. Редкие окрики пастуха полны португальской меланхолии, португальской культуры. Дважды в месяц заходит тучный юрист в мокром от пота костюме, я про себя называю его Агентом. Мы пьем белый портвейн на крыше и беседуем на официальном и скудном английском. Птицам нравится наш сад и цветы, которые сияют вокруг нас в корытах и горшках.

— Восхитительно, — говорит Агент.

— Мы называем ее Бет-Непоседа, — говорит Гамильтон.

— Прелестно.

Гамильтон указывает пальцем.

— Кареглазая Сьюзен.

— Очаровательно.

— Джонни-в-Полдень-Спать-Пора.

Внизу, на лугу, ввинчивается в воздух крепкий черный дрозд.

Вокруг, на среднем плане — а иных планов здесь и нет, — располагаются другие тихие гавани из штукатурки и флоры. Мне тут нравится. Виллы на засушливой земле отсвечивают розовым и желтым, как кондитерские лавки на планете Марс. Воздух — цвета фальшивого золота.

У нас три служанки: Ана, Лурдес и Роза, цыганочка, о которой я еще потом расскажу. Мне не в новинку держать прислугу, вспомнить хотя бы Айрин. О, Айрин!.. За слугами все время приходится прибирать, правда, не так чтобы очень много, зато они ужасно вежливые. Слуги бедны, совсем на мели, у них ни гроша за душой. Те небольшие деньги, которые у них есть, они платят Агенту, и все же у них всегда находится еще немножечко для меня. Особенно настойчива эта девчонка, Роза. Мы принимаем их взносы со снисходительным подмигиванием. Никто не говорит, что это честно, но хотя бы понятно. Что за фокус с этими деньгами? С таким же успехом деньги могли бы расти на деревьях. Все зависит от качества вашего мусора. В Нью-Йорке мусором нас обеспечивало правительство. Здесь мы сами его производим. Садовник Толо, за которым болтается, как привязанный, пес Бустос, на тележке, запряженной мулом, отправляется на

деревенскую свалку. А то полагаемся на огонь. Главное — качество, а не количество. Наш мусор *превосходного* качества. Роза, которая беднее всех, живет в цыганском таборе за откосом в дальнем конце долины. Иногда по вечерам мы бредем в ту сторону и ждем, а потом осторожно крадемся впереди нее, когда она идет на виллу; она никогда не оборачивается, но знает о нашем присутствии. Табор весь сделан из мусора, но мусора бесполезного. Мусор. Я его властелин. Она его крепостная или пленница.

Какие у нас увлечения?

Да вот, любим прогуляться. В безупречной саржевой и твидовой одежде, в охотничьей шапочке, с путающимся под ногами Бустосом. Некоторые думают, что в животных могут вселяться души богов. В кошку — я еще могу поверить. Даже в мула. Но только не в Бустоса, совершенно бестолкового, со складчатой шкурой и умоляющими глазами. Крестьяне с выдубленными лицами, обремененные поклажей женщины в черном издают хриплые приветствия, на которые Гамильтон де Суза душевно отвечает. Он моментально освоил язык, но я все еще ничего не разбираю. Единственное знакомое слово *somos*. Мы с Бустосом любим играть с его обслюнявленным теннисным

мячиком, а еще он обожает теребить всякие палочки. На том, другом склоне долины. А в таборе и правда очень грязно.

О, а еще цветоводство. Но не собственноручно, как в Уэллпорте, тут мы стоим над согбенной спиной Толо и указываем тросточкой. Цветы здесь интересные, но ужасно вульгарные. Такие взрывы розового и малинового.

Еще одно увлечение — золото. Мы его коллекционируем. Мы его копим. Примерно раз в месяц вместе с Агентом мы едем в Лиссабон и наносим визит пожилому испанцу, в его офисе в «Отеле де Люкс». Деньги у нас с собой, ими нас снабжает Агент. Мы пересчитываем цветистые банкноты и протягиваем их через письменный стол. Затем, после того как старикан осмотрит его, взвесит и завернет в бирюзовую салфетку, мы получаем свое золото, маленькие слиточки размером с запонку. Эти сделки проходят на фоне усталости, стыда и смутного отвращения. Нам неловко там сидеть. Тяжелая коричневая мебель, сеньор Менини: лупа, искусственные зубы, пыльные весы. У нас с Гамильтоном все больше золота.

Можно ли назвать увлечением Розу? Она считается? Один взгляд на Розу, когда она шагает к колодцу в своих розовых лохмотьях, — и у Га-

мильтона замирает сердце, а по телу пробегают мурашки. Похоже, он втюрился: любовь с первого взгляда. В первый же день, когда мы въехали, он зажал ее в буфетной и, обнимая, со слезами на глазах повторял: *adorada, adorada.* Роза розовая и грязная; она смуглая и розовая. В ее обязанности входит каждое утро наполнять Гамильтону ночной горшок. Обычно, когда она входит, он бреется в одних пижамных штанах. Он поворачивается к ней и неторопливо приветствует. Она нагибается, чтобы поставить под кровать до омерзения тяжелую посудину. И выходит, потупив глазки, со словами *bomdia*. Честно говоря, с Розой он опоздал. Она слишком юна для Гамильтона — да, наверное, и для кого угодно, за исключением ее братьев, отца, дядюшек и так далее, по крайней мере так считает Гамильтон (я свидетель), когда крадется мимо табора в сумраке. На прошлой неделе она отметила тринадцатилетие, так что теперь ей всего лишь двенадцать. Он смотрит во двор на нее, на ее одежду и ведро, когда она опускается на колени, чтобы замарать чистые тарелки. На ее спину, на то, как она вытирает лоб. В просвечивающих лохмотьях она розовая и алая, как ее ротовая полость, где зубы еще разные, большие и маленькие. Вскоре, чтобы

заполнить щербины, она будет доставать молочные зубы, покупать их у зубной феи… Кого он ищет в женщинах — мать, дочь, сестру, жену? Да, кстати, — где ж его жена? Пора бы ей уже появиться, пока не поздно. Роза дарит ему подарки, которые Гамильтон во время поездок в Лиссабон с увлечением продает.

Но из всех тел сейчас его больше всего интересует свое собственное. Его увлечение — он сам. А тело его — само себе партнер. О, как любят друг друга верхняя конечность и внешнее сердце. Ого, это не то что тогда, давным-давно, в Уэллпорте — бедный старый Тод со своими никчемушными шоу для одного мужчины, одинокими фиаско. Гамильтон буквально не может оторваться от собственного тела. Можно подумать, что раньше у него тела никогда не было. Зеркала провожают его взглядом, когда он идет по дому. Это он, вот он, вот: вот *это* тело он вскармливает и умерщвляет, и пристально рассматривает во всех, кривых, как в комнате смеха, зеркалах Португалии.

Розе посвящаются стихи, которые он берет из мусорки. Их с поклоном приносит в плетеной корзинке для бумаг Лурдес. Две-три строчки, и все, не больше.

В лохмотьях цыганки принцессы душа,
В убогой палатке зачахнет она…

Или вот еще:

Невинность той Розы взывает к спасенью!
Где рыцарь, где тот, кто избавит ее?

Ага. Где ж тот рыцарь. Эти строки он грустно, порой со слезами на глазах, стирает авторучкой — по-моему, прекрасная иллюстрация его хронической робости.

Теперь его тело выделяет розовую слизь, которую он потом собирает в флакон и сдает Агенту вместе с прочими туалетными принадлежностями.

Когда он ходит дожидаться ее по вечерам, мне иногда думается: дело не в Розе. Он влюблен в табор. В бешеную и чувственную музыку и вульгарные краски, в красоту и болезни в отблесках фальшивого золота, в туберкулез и сифилис, в кружево ветвей на фоне костров, будто подсвеченные мозги, в очаровательную ному[9] глаз и рта, в их ребячливость и весь их бесполезный

[9] Примечания: 9
Нома — влажная гангрена, поражающая ткани лица или (реже) половые органы.

хлам. Он хочет что-нибудь сделать с табором. Что? Здесь, в Португалии, он скрывает, что он врач, да и правильно, наверное, делает; он держится подальше от тех, кто болен или поранился, от Лурдес с ее жуткими лихорадками, от колченогого подагрика Толо, даже от Розиных царапин и вывихов. С молчаливой усмешкой он предоставляет заниматься ими местному врачу, трепетно приверженному нескольким патентованным снадобьям. Но с табором он что-то хочет сделать. Табор он готов прооперировать.

Ум и тело готовятся к войне. Тело — в часы бодрствования — своими диетами-зарядками, своими одинокими вакханалиями. Сознание — по ночам. Что-то вторгается в его сон. Внезапно очнувшись, один во всем темном полушарии, он плачет до смеха, затем пользуется приготовленным Розой горшком и быстро, несмотря на боль, засыпает. Где-то в мутных глубинах его сна я чувствую начало полнейшей перестройки, словно все плохое может вскоре стать хорошим, словно все неправильное исправится. И хотя это его новое повторяющееся сновидение в кратком пересказе особого оптимизма не внушает, по-моему, оно многозначное и может обернуться как угодно. Ему снится, что он испражняется человеческими

костями… Когда ночь выдается беззвездной, я то и дело смотрю вверх, и во мне растет ликующее предвкушение того, что мир вскоре станет осмысленным.

Как-то в жаркий день я вышел из спальни после непродолжительной, но утомительной сиесты и увидел Агента, подкатившего на своем диковинном «паккарде». За коньяком он мрачно сообщил мне, что японцы капитулировали. Я заметил, что Лурдес и Ана обе в слезах и непрерывно крестятся. Агент извиняющимся тоном рассказал мне о суеверных страхах этих простых людей. Конец света. А *bombaatomica*… Я был ошеломлен. Вот как! Они все-таки сделали это. Взяли и сделали. Как раз тогда, когда конец света начинает казаться несомненным фактом. Они не смогли удержаться: ограниченная ядерная война… Может, это было немного невежливо, но Гамильтон решил погулять и поиграть с Бустосом, предоставив их самим себе. К нашему возвращению Агент уже уехал, а женщины успокоились, не то что Бустос, глупый щенок, который крутится у моих ног и смотрит на меня влюбленными глазами.

Отношения с прислугой стали заметно прохладнее. Из них уходят чувства. Так оно обычно и бывает. Роза, которая все еще работает у нас,

благополучно погрузилась в детство. Взгляд Гамильтона больше не скользит с нежностью по ее лицу и розовым лохмотьям. Так-то лучше. Теперь мы сможем проститься с Розой небрежным кивком, легким отклонением от вертикали. Я не буду скучать даже по Бустосу, которого Агент увел несколько месяцев назад.

Война не собиралась дойти до нас. Война не собиралась прокатиться по *нашей* деревне. Это мы собирались внедриться в нее, что называется, с хирургической точностью. Медленно и аккуратно.

Не жаль было прощаться с Португалией, с ее ритмом нужды и фиесты, с портом, с непроницаемым взглядом Агента. И пришлось как-то мириться с грязью и вонью на тесном пароходике. Даже Гамильтон, который в путешествии всегда подтянут и элегантен, скоро приобрел, подобно прочим, выражение мрачного фатализма. Пассажиров было около двадцати (судно не являлось пассажирским), мы спали где попало, на скамейках и стульях на палубе, притесняемые матросами, и каждый вез что-то свое, сжав свою тайну в объятиях, как любовницу, и шепча ей что-то на всех языках Европы… Тот, другой язык, застрявший у Гамильтона в глотке, — он пробива-

ется наружу. Он корчится внутри… Конечно, мы ни с кем не разговариваем: одни только вздохи, кивки и гримасы, жесты непонимания. Прочие весь день играют в карты. Низкие люди, отбросы общества. Что нужно от них войне? Вид у них совершенно униженный. Мы везем с собой наше золото, зашитое во второй пояс под рубашкой, оно тяжко давит на Гамильтонов пах.

Я всегда считал своей духовной родиной Италию. Потому и испытал такое разочарование, прибыв в Салерно. Мы остановились в дешевом пансионе, и хозяин не видел ничего зазорного в том, чтобы на день всех нас выгонять; бесцельно бродя по городу, мы коротали время в церквях и в косноязычных перебранках с итальянской полицией. Оказывается, Гамильтон, несмотря на свое прилежание в эпоху Уэллпорта, особой страсти к церквям не испытывает. Он садится на первую попавшуюся скамью и каждые двадцать секунд поглядывает на дверь, самым бессовестным образом вздыхая. Раз он подошел к алтарю, погасил свечу и прикарманил какую-то мелочь. Один взгляд на распятого Христа: обожествленный труп, фигура, изогнутая как ветка, скрученная агонией огня. Над головой у нас незримая обсерватория света. Затем опять на свежий воздух,

к поджидающим *carabinieri* и пантомиме *pappaciere* и *papieri*.

В Рим нас доставил до смешного страшный химерически черный локомотив, и Стацьоне Термини был похож на антисобор: закопченные стекла, могильный холод, запах земной коры или крыши ада. Мы уверенно двинулись по улице сквозь невероятно разношерстную толпу: мужчины в обуви из березовой коры, женщины в одежде из мешков и ковров, дети в запыленных праздничных костюмчиках. Лица у них — как у людей, идущих в больницу, словно жизнь внушает им опасливое, но пленительное любопытство. Такое дружное ошеломленное изумление. Все будет хорошо, хотел я им сказать. Мы справимся. Никто не пропадет. Многие появятся. Сердечный прием — и легкий обед — ждал нас в монастыре (францисканском) на Виа Сицилиа. После чего мы вновь отправились в путь. Куда? Куда же еще. В Ватикан.

Собственно говоря, мы стали наведываться туда регулярно, к утру, девять дней подряд, включая два воскресенья, мимо зубчатых стен, через сады, затем по длинным, набитым трофеями коридорам с застекленными шкафами, полными подарков и побрякушек, мимо обширных

прямоугольников картин, гобеленов и красочных карт, прокручивавшихся перед нашим взором, — в приемную. Вообще-то, отец Дурья, наш поверенный, наш человек, всегда принимал нас сразу же, но тем не менее потом Гамильтон просиживал в приемной по нескольку часов. В напряженном молчании, у стола с цветочной вазой и блюдом потрескавшихся яблок. Отец Дурья был ирландцем. Жаркий накал его лица имел своим эпицентром нос; казалось, именно отсюда беглые кровеносные сосуды направляются к его участливым серым глазам, где лопаются. Рот его также являл сплошную боль. Бедный его рот. Гамильтон прочувствованно поприветствовал святого отца, рассыпавшись в благодарностях, и сразу же сдал наши документы: маленький нансеновский паспорт, португальскую визу и даже билет, которым мы обзавелись в бухте Салерно. Отец Дурья оказался снисходительным и доброжелательным. Но времени на все это тратится немало. Оно проходит в приемной за созерцанием раненых яблок, их вскрывшейся плоти.

Оно тянется и в монастыре на Виа Сицилиа — где Гамильтон, кажется, сам наложил на себя обет молчания. Пища, которой я наполняю там тарелку, отражает характер заведения: простая,

но сытная. У нас отдельная маленькая келья. В монастыре полно таких же, как я, странников, призраков с половиной имени (я чувствую, что в настоящий момент нахожусь *меж* двух имен). Весь Ватикан полон таких просителей, взывающих: «Отче, отче». Вся Европа, вероятно, полна таких, как я, готовящихся вступить в войну решительной, но неровной походкой. Так что я одинок, но не один, как и все прочие. Наша келья обогревается стыдом, отжиманиями и молитвами. Да, молитвами. Молитвы его похожи на шум, который производят, чтобы заглушить невыносимые мысли. Сей неожиданный дар страдать произвел бы на меня впечатление, если бы не его скучная подоплека: страх, только страх, один лишь страх. Отчего? Мы же все через это пройдем. Но он, сцепив руки и преклонив колени, с таким отчаянным рвением хнычет и причитает о своем личном спасении. Чтобы выказать искреннюю веру или что-то еще, он даже попробовал… ну, знаете: стул, ремень, прикрепленный к потолочной балке. Надо ли говорить, что ничего не вышло. Как я уже имел честь докладывать, покончить с собой невозможно. Раз уж ты здесь, никуда ты не денешься.

Вчера под кустами за ивами мы нашли фото-

графию. Порванную на мелкие кусочки — мы срастили их вместе. Лицо женщины: темноволосая, мягкая, приятная, непосредственная. Но в глазах ни капли всепрощения. Боюсь, что это наша жена.

Как тяжко сидеть на стуле в приемной и, покаянно попыхивая папиросой, глядеть, как исцеляются потрескавшиеся яблоки.

— Мы помогаем тем, кто в этом нуждается, — сказал отец Дурья во время нашей последней встречи, — а не тем, кто этого заслуживает.

— Делаешь то, что делаешь лучше, — сказал Гамильтон, — а не то, что лучше делать.

— Я сделаю все, что смогу.

— Я не могу объяснить того, что совершал. Я не смею просить вас о помощи.

— Успокойтесь.

— Я ничтожен. Мертвец. Я просто… Я даже не…

Отец Дурья сел. И я тоже. Глубоким и бесстрастным голосом Гамильтон продолжил:

— Я утратил представление о нежности человеческого тела.

— Не понимаю, — сказал отец Дурья.

— Мы стали бесчувственными к человеческому телу, даже к детям. Даже к младенцам.

Так. Смысл. Вот он. Сейчас все выяснится. То,

что слишком долго держалось внутри, сейчас выйдет наружу. Коридоры и театры, отделение «Питер Пэн», настольные арифмометры, глаза тех, кого не слушают: тот мир боли, дно которого скрыто во мраке.

Лицо священника сморщилось вокруг опаленной сердцевины, его носа. И отец Дурья произнес:

— Я понимаю.

— Вы знаете, где я был. В такой ситуации предполагается вести себя определенным образом.

— Понимаю, сын мой.

— Ситуация была безумной и невозможной.

— Не обязательно говорить.

Гамильтон смочил щеки рукавом и прочувствованно шмыгнул.

— Там творилось такое…

— Так-так.

— Я все-таки хотел бы лечить, отче. Может быть так, творя добро…

— В аду?

— Я был в аду.

— Конечно. Конечно.

— Я грешен, отче.

— У вас встревоженный вид, сын мой.

В этот момент Гамильтон вручил ему всякие

наши документы и визы, а отец Дурья одарил его новыми документами. Перед тем как сделать это, отец Дурья долго и тяжко изучал их, уставившись в них своими кровавыми глазами. Расставание наше было отмечено обычными формальностями и привычными комплиментами насчет моего безупречного английского.

Мы с Гамильтоном провели последнюю ночь в Риме в очень респектабельном отеле на Виа Гарибальди, у высоких стен тюрьмы. А стены у тюрьмы такие высокие, что невольно начинаешь задумываться, какое же телосложение у среднего итальянского преступника. Мне представился зверинец растленных гнилозубых жирафов, все с тесаками и выкидными ножами… У нас в номере есть даже ванна, мы там плескались больше часа. Чистая грудь, чистые руки.

У нас опять поменялось имя. Думаю, больше оно меняться не будет. Сперва я даже испугался, но уже немного к нему привык — и вот признаюсь: теперь нас зовут Одило Унфердорбен.[10]

И чистые, смазанные пятки. Наше путешествие на север прошло как по волшебству. Мы стали эстафетной палочкой в гонке на войну.

---

[10] Примечания: 10
Unverdorben *(нем.)* — неиспорченный.

Поездом до Болоньи (там я купил альпийские ботинки), на грузовике до Роверето, оттуда мы двигались рывками по двадцать — двадцать пять миль в день, всегда с проводником или сопровождающим, из деревни в деревню, от фермы к ферме, пешком, на повозке, на неуклюжих автомобилях. А по какой земле вели меня мои гиды, мои избавители, как она была живописна: глиняные, будто статуэтки, здания, пестрые, будто свиной студень, камни в свежем дыхании сумерек. Густо поросшая травой и опрятными лесами: здесь и сейчас у земли хороший волосяной покров, густой и аккуратный, а под ним хорошая кожа, не то что *там*, не то что *раньше* — вся изрытая и залатанная земля. Эта земля невинна. Она ничего не делала.

Март и февраль мы провели в Бреннере, где обитали на трех разных фермах. Далекие от идеальных, условия нашей жизни отличались уместным аскетизмом и вполне подходили для того, чтобы приготовиться внутренне. Лично я скучал по обществу людей и физической активности (хороший марш-бросок, например), но у Одило, безусловно, были свои соображения. Свои основания для того, чтобы проводить неделю за неделей на сеновале и в коровнике, под грудой

одеял, ничего не делая, лишь молясь и дрожа. Мы слышали громкие шорохи на заре и в сумерках, лай собак, но не слышали далеких раскатов войны. Когда мы продолжили путешествие на север, шел снег. Он зарядил надолго, ведь его скопилось много на земле, тучи снежинок взлетали вверх, как маленькие души. Мы быстро двигались на джипе и грузовике по городам Центральной Европы. Многие из них лежали в развалинах, грудами мусора, ожидая восстановления войной. Черные здания стояли и ждали, когда их раскрасит война. Перепачканные и помятые люди дожидались, когда по ним прокатятся армии. Европа бурлила в ночи, как море человеческих тел вокруг печей в залах ожидания на вокзале. Везде, где я проходил, люди с вдохновенным и радостным выражением лица давали мне золото.

Я знал, что все это золото священно и необходимо для нашей миссии. Соответственно, на финальном этапе, на последней ферме близ реки Вислы, где мы пожили в дружеской обстановке, где можно было гладить детей по голове и ерошить им волосы и спать на полосатом матрасе у огня, — там мы зарыли наше золото. Энергично и витиевато ругаясь, мы закопали мешочек со сбережениями под навозной кучей за коровни-

ком. Конечно, это был акт чисто символический: золото лишь на время возвратилось в землю, потому что через пять дней, когда навозную кучу убрали, мы снова откопали его. Ругаясь, Одило заклинает человеческое дерьмо, из которого, как нам теперь известно, в конечном счете происходит все человеческое добро.

Сколько раз я спрашивал себя: когда же мир станет осмысленным? Но ответ где-то там. Он мчится ко мне по пересеченной местности.

ГЛАВА 5
Здесь нет «почему»

Мир станет осмысленным…

…*Сейчас.* Я, Одило Унфердорбен, прибыл в Аушвиц-Центральный несколько скоропалительно, на мотоцикле, в колышущемся ореоле жидкой грязи, почти сразу после того, как большевики предприняли свое постыдное отступление. *Сейчас.* Ехал ли со мной какой-нибудь тайный пассажир, на заднем сиденье или в воображаемой коляске? Нет, я был один. Одет я был полностью по форме. За южной границей лагеря, в амбаре без крыши, я снял грязную дорожную одежду и с воодушевлением облачился в белый халат, черные сапоги, куртку с овчинной выпушкой, фуражку, портупею с кобурой. Загнанный в канаву мотоцикл я нашел раньше. О, с каким неудержимым рвением, с какой отвагой выпорхнул я на дорогу… И вот я сижу верхом на тяжелой машине, порывисто газуя рукой в жесткой краге. Вокруг меня на много миль протянулся Аушвиц, похожий на перевернутый Ватикан. Вся человеческая жизнь была искромсана. Но я теперь

составлял единое целое, я был сплавлен воедино для достижения сверхъестественной цели.

Лопатки всякий раз вздрагивали от звуков русской артиллерии: русские катились на восток. Что они тут наделали? Как животные, право слово: ни капли самоконтроля и без малейшей задней мысли. Я — тоже сорвался. Честно говоря, и я не вполне владел собой. Я стал кричать (в крике звучали боль и ярость) — и на кого? На эти вешалки, смычки от скрипок, на эти крючки и огузки, дохлые закорючки, стоящие в ряд, как бессмысленные буквы в таблоиде? Я зашагал; я пошел, крича, через мост, через все железнодорожные пути в березовую рощу — в то место, которое, как я потом узнал, называется Биркенау. После короткого и неистового отдыха на картофельном складе я зашел в женский госпиталь, с твердым намерением устроить там проверку. Напрасно. Теперь я это понимаю (просто глаза разбегались — с чего бы начать?). С моим приходом немногочисленные санитары совсем остолбенели, не говоря уж о пациентах, которые лежали по двое, по трое на рогожных мешках, не женщины, а дети малые. А крысы там были величиной с кошек! Меня потрясло, с какой силой вырывались из меня немецкие

слова, будто под напором тысячелетнего гнева от столь длительного молчания. В умывальной комнате опять поразительная картина: марки и пфенниги — хорошая валюта — приклеены к стене человеческими испражнениями. Это какая-то ошибка, это неправильно. Что все это *значит*? Испражнения, везде испражнения. Даже шагая обратно через палату, мимо язвы и отека легких, мимо лунатиков-ходоков и лунатиков-болтунов, я чувствовал под своими черными сапогами голодное чмоканье дерьма. Снаружи и везде. Это вещество, человеческое вещество, в нормальные времена (и в цивилизованных местах) эстетики ради заключенное в клоаки и коллекторы, с глаз долой, — оно вышло из берегов, выплеснулось наружу, на пол, на стены, до самого потолка жизненного пространства. Естественно, я не сразу обнаружил в этом логику и справедливость. Я не сразу понял вот что: теперь, когда человеческое дерьмо вышло на поверхность, у нас есть реальный шанс выяснить, на что оно способно.

В то первое утро мне накрыли некий недозавтрак в офицерской столовой. Я был совершенно спокоен, хотя не мог ни есть, ни пить. Вместе с сыром и ветчиной — не моего изготовления — мне принесли сельтерской со льдом. Кроме ме-

ня присутствовал лишь один офицер. Я жаждал поупражняться в немецком, но мы не разговаривали. Он держал свою чашку кофе как-то по-женски, обхватив ее зябнущими ладонями. Слышно было, как фарфор выстукивает морзянку о его зубы. Несколько раз он с безмятежным видом поднимался и уходил в туалет, а возвращался стремглав, неуклюже теребя ремень. Это была, как я вскоре обнаружил, своего рода акклиматизация. Первые несколько недель я сам не слезал с толчка.

В моей тишайшей спаленке на полу возле кровати лежит вытертый коврик из оранжевой резины. Чтобы усладить мои влажноватые германские ноги, когда я ложусь. Чтобы усладить мои влажноватые германские ноги, когда я встаю.

На второй неделе лагерь начал заполняться. Сперва жалкими кучками, потом толпами. За всем этим я наблюдал из-под верстака на заброшенном складе близ березовой рощи сквозь дырочку в стене, укутавшись в одеяло, с бутылкой тминной водки и четками, которые перебирал, как счеты, суммируя прибывающих. Я вспомнил, что видел некоторые из этих колонн, когда проезжал через восточную Чехословакию, в Зилине

и Остраве. Здоровый моцион и бодрящая температура явно пошли этим людям на пользу, хотя в целом их состояние по прибытии сюда оставляло желать много лучшего. И *их было недостаточно*. Неотвязно, как во сне, вставала проблема масштаба, неразрешимой несоразмерности. Прибывая сотнями и тысячами, эти заблудшие не могли заполнить зияющую вселенную Кат-Цет. Отчаянно требовался другой источник, какой-то иной ресурс… Дело подошло к середине зимы, когда я решился выйти со склада (я и мотоцикл там держал, не спуская с него горящих глаз). Теперь в офицерской столовой народа стало больше, все время прибывали новые люди. Казалось странным — нет, это казалось в порядке вещей, — что все мы, само собой, должны знать друг друга: мы, собравшиеся здесь для достижения сверхъестественной цели. Я шпарил по-немецки, будто во сне, будто хороший робот, которого включил, отошел — и восхищенно смотришь, как он выполняет всю тяжелую работу. Вместе с личным составом прибывало и мужество, и та особая отвага, которая требовалась для решения поставленной задачи. Как красивы мужчины. Какие у них плечи, какие могучие шеи. К концу второй недели в нашем клубе не смолкали крикливые

песни и громкий смех. Как-то поздно вечером, вывалившись на улицу и перешагнув через коллегу, я завернул за угол, так как все туалеты были заняты, и, присев в мокрый снег, опершись щекой о холодные доски и устремив взор в зловонные тени Аушвица, увидел, что ближайшие руины дымятся сильнее прежнего и даже начали тлеть. В воздухе ощущался новый запах. Сладковатый запах.

Требовалось волшебство, чтобы извлечь смысл из всего, что окружало нас, едва подвластное изучению: нужен был кто-то подобный богам, — тот, кто смог бы перевернуть окружающий мир. И в должный час он явился… Невысокий, нет, среднего роста; бесстрастно красивый, доподлинный, с самодовольной искоркой во взгляде; изящный, грозно грациозный в своей атлетической властности; и к тому же врач. Да, простой врач. Это был триумфальный въезд, скажу я вам. Сквозь березы замелькал белый «мерседес-бенц», из которого выскочил он, одетый в пальто, и метнулся через двор, отдавая приказы. Я знал его имя и, выглянув из своего сарая, где сидел со шнапсом и туалетной бумагой, пробормотал: «Дядюшка Пепи». Хлам и руины трепетали огнем, а он стоял, уперев руки в бока, и смотрел, как в дыму собираются его

силы. Я медленно отвернулся и почувствовал стремительный треск неистовой одушевленной материи. Когда я с воплем снова приник к дырке, дым уже исчез, оставался лишь дом, в идеальном состоянии, вплоть до растущих за низеньким заборчиком ирисов по бокам дорожки, что вела ко входу, и там теперь стоял Дядюшка Пепи, вскинув скрюченную руку. Была даже большая вывеска над дверью. BRAUSEBAD. «Душевая», — прошептал я, благоговейно фыркнув. Но Дядюшка Пепи уже прошел дальше. В то утро, лежа на дощатом складском полу и клацая от предчувствия зубами, я услышал еще пять взрывов. Ударная волна с силой втягивала потрясенный воздух. На следующий день мы были готовы к работе.

Что внушает мне уверенность в том, что все это правильно? Почему я считаю, что все остальное было неправильным? Уж конечно не из эстетических соображений. Не могу сказать, чтобы Аушвиц-Биркенау-Моновиц радовал глаз. Или слух, или вкус, или обоняние, или осязание. Среди моих коллег бытовало общее, но бессистемное стремление к изяществу. Я понимаю это слово и все заключенное в нем томление: *изящность*. Не за это изящество полюбил я вечернее небо над Вислой, адски красное, с наплывами душ. Тво-

рить легко. И гадко. *HieristkeinWarum.* Здесь нет «почему». Здесь нет «когда», нет «как», нет «где». Какая у нас сверхъестественная цель? Вымечтать расу. Делать людей из погоды. Из грома и молнии. Газом, электричеством, дерьмом, огнем.

Я или врач такого же ранга присутствовали на каждом этапе процедуры. Незачем знать, почему печи так уродливы, так ужасно уродливы. Трагически грузное насекомое восьми футов ростом, состоящее из ржавчины. Кто бы захотел готовить на такой печке? Шкивы, поршни, решетки, вентиляционные отверстия — органы этого механизма… Еще мертвые пациенты выезжали из него на некоем подобии носилок. Воздух густел и коробился от магнетического жара творения. Оттуда — в Камеру, где тела складывали аккуратно и, на мой взгляд, вопреки здравому смыслу: в самом низу штабеля дети, затем женщины и старики, потом мужчины. Мне все время казалось, что лучше было бы наоборот, ведь малыши наверняка покалечатся под грудой обнаженных тел. Однако и так все получалось. Иногда, причудливо гримасничая и скалясь, я следил за происходящим через наблюдательное окошечко. Обычно приходилось долго ждать, пока невидимый газ заполнит помещение через

вентиляционные решетки. Покойники выглядели такими мертвыми. У мертвых тел есть свой, мертвый язык. Он ничего не говорит. Я всегда чувствовал большое облегчение, когда начинались первые конвульсии. Потом опять было некрасиво. Что ж, на обеих гранях существования мы обнажены, кричим и дергаемся. И на том конце жизни, и на этом мы плачем, а врач смотрит. Это я, Одило Унфердорбен, лично вынимал капсулы «Циклона-Б» и сдавал их фармацевту в белом халате. Далее шел предбанник Душевой, трубы и патрубки которой (и пронумерованные места, и гардеробные билетики, и таблички на шести или семи языках) предназначались для утешения пациентов, а, увы, не для санобработки; далее шла садовая дорожка.

Одежда, очки, волосы, бандажи и тому подобное — все это доставлялось позже. Хотя, чтобы предотвратить ненужные страдания, зубоврачебные работы обычно проводились до оживления пациентов. Занимались этим капо, грубо, но эффективно, ножами, стамесками и вообще чем под руку подвернется. Большая часть необходимого золота шла, конечно, прямо из Рейхсбанка. Но все присутствовавшие немцы, даже самые нижние чины, охотно предоставляли свои запасы — и

больше всех я, после, конечно, самого Дядюшки Пепи. Я *так и знал,* что мое золото обладает священной силой. Все эти годы я копил его и лелеял, и оказывается — евреям на зубы. Основную часть одежды пожертвовал Союз немецкой молодежи. Волосы для евреев любезно предоставила «Фильцфабрик АГ» из Рота, под Нюрнбергом. Полные вагоны волос. Вагон за вагоном.

Тем не менее хотелось бы сейчас озвучить одну из нескольких возможных оговорок. В Душевой пациенты наконец одевались в предоставленную им одежду, которая была не сказать чтобы чистой, но, по крайней мере, всегда соразмерно скроенной. У здешних охранников есть привычка трогать женщин. Иногда — естественно, — чтобы подарить драгоценность, колечко, дорогую безделушку. Но бывает и совершенно необоснованно. По-моему, впрочем, они это без малейшего злого умысла. В неугомонной германской манере — игриво, с оживлением. Лишь сердитые женщины удостаиваются такого внимания, и успокаивающий эффект налицо. Одно касание, вот так — и они уже идут, застыв в оцепенении, как все прочие. (Кто-то, бывает, плачет. Кто-то смотрит на нас со скептическим презрением. Но я понимаю их состояние. Я впечатлительный, я понимаю та-

кие вещи.) Оно, это трогание женщин, вероятно, символично. Жизнь и любовь должны продолжаться. Жизнь и любовь должны продолжаться, настойчиво и звонко: послушайте, мы ведь все для этого созданы. И все же никак не избавиться от налета жестокости, чрезмерной жестокости, словно творение развращает…

Мне не хочется трогать тела этих девушек. Всем известно, что я смотрю на такое приставание неодобрительно. Я даже не хочу на них смотреть. Лысые девушки с огромными глазами. Только что сотворенные, еще мокрые от акта творения. Меня это несколько беспокоит: в том смысле, что подобная чувствительность совсем неуместна. Деликатность ситуации, присутствие их родителей, часто дедушек и бабушек, и тому подобное (как в дурном эротическом сне) вряд ли объясняет недостаточную зрительную стимуляцию; с девочками в офицерском борделе я как с цепи срываюсь. Нет. Думаю, это как-то связано с моей женой.

Подавляющее большинство женщин, детей и стариков мы обрабатывали газом и огнем. Мужчины, как и положено, идут к выздоровле-

нию иначе. *Arbeitmachtfrei*[11] — гласит надпись на воротах, тоном типично грубоватым и бесхитростным. Мужчины трудятся для своего освобождения. Вот они идут в осенних сумерках под звуки оркестра, мужчины-пациенты в легких пижамах. Они маршируют в деревянных ботинках, рядами по пять человек. Смотрите-ка. Они умеют делать головой один фокус. Закидывают головы назад, так что лицо в конце концов смотрит прямо в небо. Я пробовал. Пробую — и ничего не выходит. У меня на загривке есть такой нарост плоти, которого у этих людей еще нет. Они появляются здесь ужасно худыми. К ним стетоскоп невозможно приложить. Раструб упирается в ребра. Сердце бьется где-то далеко.

Вон они идут на работу, задрав головы. Сперва меня это озадачивало, но теперь я понимаю, зачем они так тянут шеи. Высматривают порхающие в небе души матерей и отцов, жен и детей, что дожидаются человеческих тел и воссоединения семьи… Небо над Вислой полно звезд. Теперь я могу на них смотреть. Они больше не жгут мне глаза.

Завязывание семейных уз, устройство брачных

---

[11] Примечания: 11
Труд освобождает *(нем.)*.

союзов, называемое *сортировкой*, обычно становилось кульминацией режима KZ. Общеизвестно, что успех Аушвица состоял, в первую очередь, в умелой организации: мы нашли священное пламя, скрытое в человеческом сердце, — и проложили туда автостраду. Но как объяснить божественную синхронность сортировки? В тот самый миг, когда слабых, молодых и старых доставляли из Душевой на железнодорожную станцию (в прекрасном состоянии), у мужчин как раз заканчивался установленный срок трудовой повинности, и они бросались вперед, призывая домочадцев, немного взъерошенные, но располневшие и окрепшие благодаря режиму тяжелого труда и строгой диете. Как сваты мы не знали, что такое *неудача;* достичь сногсшибательного успеха на сортировке было легко, как два пальца обмочить. Мужья и жены, дети и родители умоляюще простирали друг к другу руки под нашими снисходительными взорами. Напутственными тостами мы провожали их в ночь. Один нетвердо стоявший на ногах охранник играл на аккордеоне. Вообще-то, мы все пили как черти. Мальчишник на сортировке, и вот капо, словно приятели — жениха, заталкивают пациента в вагон, свежезаляпанный дерьмом и

хламом, — в путь, домой.

Мир Аушвица, признаюсь, был страшно копроцентричным. Он весь состоял из дерьма. В первые месяцы я был вынужден преодолевать естественную тошноту, пока не понял основное своеобразие того удовольствия, что дает нам процесс достижения цели. Озарение пришло ко мне в тот день, когда я увидел, как из недр нужника на поверхность выплыл старый еврей, как он барахтался, борясь за жизнь, и был выужен оттуда ликующими охранниками, причем одежда его очистилась в этом болоте. Затем они приделали ему бороду. Полезным для меня оказалось также наблюдение за работой «шайсекоманды». Им вменялось в обязанность наполнять выгребные ямы из вагонетки, но не ведрами или чем-нибудь наподобие, а плоскими деревянными лопатами. В принципе, великое множество трудовых программ в лагере были явно непроизводительными. Они не были и разрушительными. Засыпьте вон ту яму. Выкопайте ее снова. Отнесите это туда. Теперь отнесите обратно. Во главе угла стояла терапия… «Шайсекоманду» составляли наши самые образованные пациенты: ученые, раввины, писатели, философы. Работая, они исполняли арии, насвистывали отрывки из симфоний, чита-

ли стихи, беседовали о Гейне, Шиллере и Гёте… Когда мы пьем в офицерском клубе (чем мы там главным образом и занимаемся), в разговорах то и дело всплывает дерьмо, а иногда мы называем Аушвиц — *AnusMundi*.[12] Затрудняюсь удачней воздать ему должное.

Есть и другие яркие образчики лагерного арго. Главную печь называют «райским блоком», главную дорогу к ней — «дорогой в рай». Камеру и Душевую язвительно именуют «центральной больницей». Наряд на дежурство в любое время года зовется у нас *Sommerfrische*,[13] то есть дачей: имеется в виду бессрочный отдых от неадекватной действительности. Желая сказать «никогда», мы говорим «завтра утром» — так испанцы говорят *tañana*. Самые стройные пациенты, лица у которых ссохлись до костяного треугольника с огромными впадинами глазниц, — *Muselmannen*, но не ироническое *musclemen* (культуристы), как мне в первый раз послышалось. Нет, угловатость бедер и плеч подразумевает мусульман — мусульман за молитвой. Конечно, они не мусульмане. Они евреи. Так мы обратили их!

---

[12] Примечания: 12
Задний проход вселенной *(лат.).*

[13] Примечания: 13
Досл. летняя свежесть *(нем.).*

Когда же оно случится, обращение евреев? Завтра утром. Слухи и сплетни, которые частенько вызывают перевозбуждение у пациентов-мужчин, мы снисходительно называем «сортирными разговорчиками».

HieristkeinWarum… К сожалению, в немецком я уже дальше не совершенствуюсь. Я говорю на нем и, судя по всему, понимаю сказанное, получаю и отдаю на нем приказы, но на каком-то уровне все-таки «не доходит». Немецким я владею не лучше, чем португальским. Думаю, у меня слишком много сил ушло на овладение разговорным английским. Так я предполагаю. Смешной язык этот немецкий. Начать с того, что на нем общаются только криком. А все эти сверхдлинные слова: буквализм, лексическая бижутерия. Немецкий звучит агрессивно, ведь каждое предложение начинается с глагола. А взять первое лицо единственного числа: *ich*. «Ихь». Правда, не шедевр самоутверждения? «Я» звучит благородно и прямо. *Je* — слышится некая сила и душевность. *Ео* — тоже нормально. *Yo* — мне тоже нравится. *Йо!* Но «ихь»? Звучит как возглас маленького ребенка, который увидел собственные… Может, отчасти в этом все дело. Несомненно, все разъяснится, как только я продвинусь в немецком.

Когда же это будет? Знаю. Завтра утром!

В офицерском борделе, который расположен, что неудивительно, в дальнем углу Экспериментального блока (его окна все время закрыты ставнями или забиты досками), я изменил многолетним любовным привычкам. Ушла былая дотошность. Та любовь к подробностям, которой обычно отличались мои отношения со слабым полом. Возможно, причина в осознании моего женатого положения (о котором коллеги часто со смехом мне напоминают), или я подлаживаюсь к общему духу KZ, а может, просто опротивели женские лица, но теперь мои любовные атаки — такие внезапные, поспешные, беспомощные и безнадежные — направлены лишь на универсальный источник благ, на средоточие всех целей. Лысые шлюхи нам не платят. Мы не спрашиваем почему. Ведь здесь нет «почему».

Еще одно словечко, широко распространенное в Кат-Цет и употребляемое в разных формах, звучит так — «смистиг», но если разобраться, оно происходит от двух немецких существительных, *Schmutzstűck* и *Schmuckstűck,* «хлам» и «драгоценность». Самое же смешное, что «смистиг» означает «исчерпанный», «завершенный», «конченый».

Я начал переписываться со своей женой, ее зовут Герта. Гертины письма возникают не из огня *(dasFeuer),* а из мусора *(derPlunder).* Они на немецком. Мои письма к Герте мне приносит денщик. Здесь, в тишине комнаты, по ночам я их усердно стираю. И остаюсь с чистыми белыми листами бумаги. Но зачем они мне? Мои письма тоже на немецком, хотя в них есть отрывки и на английском, написанные в шутливо-нравоучительном тоне. Думаю, разумно, что мы с Гертой знакомимся таким образом, надо получше узнать друг друга. Мы с ней друзья по переписке.

Кажется, у моей жены зародились некие сомнения насчет работы, которой мы здесь занимаемся.

Недоразумение нужно будет поскорее разъяснить. А тут еще этот ребенок *(dasBaby).* «Моя милая, моя единственная, самая дорогая на свете, дети у нас еще будут, — пишу я, немного конфузясь. — Будет *куча* малышей». Мне что-то не очень нравится, как это звучит. Этот малыш — *dasBaby* — и есть младенец-*бомба?* Ребенок, обладающий такой властью над своими родителями? Не думаю. Наш ребенок (у которого есть имя: Ева) обладает огромной силой *как предмет обсуждения.* Но это не та физическая сила, которую

оказывает младенец-бомба на своих родителей и всех остальных, собравшихся в черной комнате: около тридцати душ.

Тот ее снимок, который я нашел в Риме в монастырском саду, — я вынимаю его и любуюсь. Ночью мои глаза полны слез. Днем я с головой окунаюсь в работу. Не знаю, окончится ли когда-нибудь список тех жертв, которые мне приходится приносить.

Дядюшка Пепи был вездесущ. Именно это его качество отмечали чаще всего. Говорили, например, так: «Он как будто везде сразу», или «Этот человек, кажется, повсюду», или просто: «Дядюшка Пепи везде». Вездесущность являлась лишь одним из нескольких качеств, которые переводили его в сферу сверхчеловеческого. А еще он был фантастически чистым для Аушвица; в его присутствии, а присутствовал он везде и всегда, я ощущал царапины и порезы на своем неровном подбородке, короткие, но непослушные волосы, обвисшую морщинами форму, тусклые черные сапоги. Лицо у него было, как у кошки, расширенное к вискам, и моргал он по-кошачьи неторопливо. На сортировке он двигался с грацией фотомодели, будто ряд изящных решений. Казалось, он лишь притворяется человеческим

существом. При всей своей самодостаточности, Дядюшка Пепи тем не менее проявлял великодушную снисходительность и к тому же был необычайно коллегиален — ну, не с такими юнцами, как я, конечно, а с медиками старше меня по званию, с Тило и Виртцем. Но я, помимо всего прочего, был удостоен особой привилегии — ассистировать Дядюшке Пепи, и довольно-таки регулярно, в Комнате 1 в Двадцатом блоке, а потом даже в самом Десятом блоке.

В Комнате 1 я узнал комнату из своих снов. Розовый резиновый фартук на вешалке, тазы и термосы с инструментами, окровавленная вата, шприц на четверть литра с тридцатисантиметровой иглой. «Вот та самая комната, — подумал я, — в которой будет скорбно решаться что-то роковое». Но сны обманчивы, они любят подразнить, посмеяться над истиной… Уже подававших признаки жизни пациентов привозили одного за другим из штабеля за дверью и закрепляли на стуле в Комнате 1, которая выглядела именно так, как и должна выглядеть лаборатория Института гигиены: мир пузырьков и склянок. Шприцем можно было работать внутривенно и внутрисердечно. Дядюшка Пепи предпочитал второй вариант как более эффективный и гуман-

ный. Мы работали и так, и так. Сердце: пациенту завязывают глаза полотенцем, в рот ему, чтобы заглушить вопли, всовывают его собственный правый кулак, игла вводится в глубокую ложбинку под пятым ребром. Вена: пациент кладет предплечье на столик, резиновый жгут, набухшие вены, игла, целесообразный мазок спиртом. Иногда Дядюшке Пепи приходилось приводить их в чувство несколькими пощечинами. Трупы были розовые с голубоватым отливом. Смерть, розовую с оттенком желтизны, мы собирали в стеклянные цилиндрики с надписью «Фенол». После дня такой работы выползаешь на улицу, в белом халате и черных сапогах, со знакомой головной болью, плаксиво попыхивая папиросой, и завтрак комком подступает тебе к горлу, а небо на востоке по цвету напоминает фенол.

Он вел. Мы шли за ним. Работа с фенолом стала абсолютно рутинной. Мы занимались ею все время. Лишь позже, в Десятом блоке, я увидел, на что действительно способен Дядюшка Пепи.

Впервые моя жена Герта приехала в Аушвиц весной 1944 года — наверное, некстати. Тогда мы делали венгерских евреев, с невероятным размахом, тысяч по десять в день. Некстати, потому что я дежурил на сортировке практически

каждую ночь, да и работа утомляла своей обезличенностью: сортировка теперь проводилась через громкоговоритель, такой шел поток, и мне ничего не оставалось делать, кроме как торчать на платформе, жрать шнапс и надрывать глотку с коллегами — лишая, таким образом, Герту того безраздельного внимания, которого жаждет каждая молодая жена… Погодите. Начну-ка я с другого.

Все было приготовлено к ее приезду. Заботливейший доктор Виртц предоставил нам часть своего жилья — дивную квартирку с отдельной кухней и ванной, с окнами, занавешенными кружевными шторами и выходящими на высокий белый забор. За забором — приглушенная какофония Кат-Цет… С доктором Виртцем живут сейчас жена и трое детей. Я надеялся, что Герта какую-то часть времени будет проводить играя с маленькими Виртцами. Хотя это могло задеть за больное… Сидя на диване, я тихо плакал; думаю, мне хотелось, чтобы Аушвиц выглядел попривлекательнее, чем теперь, в безветренную жару и осаждаемый мириадами рвущихся к болоту мух. Услышав, как подъезжает служебный автомобиль, я вышел в светло-коричневый палисадник. Чего я ждал? Наверное, привычной неловкости.

Упреков, обвинений, печали — возможно, даже бессильных ударов слабыми кулачками. Чтобы как-то решить все проблемы в первую ночь в любовном акте. Или уж наверняка во вторую. Так *обычно* начинаются подобные связи. Меньше всего на свете я ожидал правдивых заявлений. К правде я был готов в наименьшей степени. А ведь можно было догадаться. В конце концов, здесь, в Аушвице, мир устроен по-другому. В нем есть смысл.

Водитель сентиментально смотрел, как она вылезает из машины и шагает по тропинке. Затем она повернулась ко мне лицом. Ничего похожего на свою фотографию. На ту ясноликую девочку со снимка.

— Ты для меня чужой, — сказала она.

Fremde: чужой.

— Пожалуйста, — заговорил я. — Пожалуйста, любимая.

Bitte. Liebling.

— Я тебя не знаю, — сказала она.

Ichkennedichnicht.

Герта склонила голову, я помог ей снять пальто. И что-то обволокло меня, что-то скроенное точно по моему размеру, как форма или костюм поверх того, который я носил, что-то простроченное

печалью.

Ее застенчивость оказалась несокрушимой. Мы тихо, буквально безмолвно, пообедали флюидальными сосисками. Герта совершенно не умеет обращаться с тяжелыми столовыми приборами и шведским сервизом. Когда слуги ушли, она пересела на диван и уставилась на красивый ковер. Я подсел к ней. Ее не тронули мои легкомысленные, но довольно-таки вялые ухаживания, нужные слова почему-то не находились. Я и сам-то не очень хорошо себя чувствовал. И чем ближе к утру, тем хуже. А затем совсем погано, после судорожного посещения маленькой, но гулкой ванной, воздух в которой полнился шустрыми сквознячками и запахом гари. С некоторым раздражением я улегся в постель, даже не раздевшись. Проснулся часов около четырех утра, все так же обутый, а она лежала рядом, заключенная в свою шерстяную ночнушку, и со злостью шептала: *Nein. Nie. Nie.* Никогда. Никогда. Никакие ласки и нежности (ни добродушные насмешки) не могли смягчить ее сердце. Я вылез из постели — оп! — и поднялся с пола. Герта уже спала. Помнится, я подумал, каким белым, холодным и спокойным выглядит ее лицо без ветра мыслей или чувств, и, покачиваясь, пошел

на сортировку.

Предприятие наше выпускало людей, но и животное царство играло свою роль в новом миропорядке. Тележки с трупами тупо, с животным безразличием, влекли с мест захоронения мулы и быки. Коровы не отрывались от своих пастбищ, словно заявляя равнодушно: «Все нормально. Без комментариев», — как будто вызывать с небес над рекой сонмы людей было в порядке вещей. Еще мы держали кроликов и обходились с ними столь же изобретательно, столь же, раз нужда заставила, хитроумно, как с людьми. Сотрудники жертвовали опушку своих пальто на шкурки этим зверькам. А кроме того, конечно, были собаки, хрипящие боксеры со сплющенными мордами и трясущимися челюстями, с вездесущими загнутыми крестами на кургузых попонах в честь евреев, которых они излечили своими зубами.

В клубе я слышал — если, конечно, правильно разобрал, — что евреи произошли от обезьян *(Men-schenaffen)*, и всякие славяне тоже, и прочие. А вот немцы сохранились во льдах на затерянном континенте Атлантиде с самого сотворения мира. Приятно это осознавать. Это открыл метеорологический отдел в *Ahnenerbe*. Официально они

разрабатывают долгосрочные прогнозы погоды; на самом же деле — стремятся доказать теорию мирового льда раз и навсегда.

Что-то я такое уже слышал. Атлантида… Близнецы и карлики. *Ahnenerbe* является подразделением *Schutzstaffel. Schutzstaffel*— Силы обороны. *Ahnenerbe*— Наследие предков. Именно оттуда Дядюшка Пепи получает черепа и кости.

Мне, конечно, знакомы женские уловки. Но я был разочарован, я был крайне разочарован, когда на вторую ночь Герта повела себя не лучше, чем в первую. В целом — точно так же. Неужели ничто не «растопит лед» — мировой лед брака? Сама идея постепенного сближения была вначале даже по-своему привлекательной. «Но уж третьей — и последней — ночью, — думал я, — когда мы будем предоставлены сами себе…»

Ночная рубашка у Герты совсем детская. Она разукрашена джиннами и духами. Я молил этих духов и джиннов. Лихорадочно, всю ночь, молил их: о жалость ложа, о ложа ложь… Перед этим случались моменты, когда я был спокойнее, и мы с Гертой могли поговорить. Она со слезами толковала о *dasBaby,* а младенец — тема довольно пагубная. У меня также сложилось явное впечатление, что Герта не одобряет работы, которой я

тут занимаюсь. Гневным шепотом она осыпала меня оскорблениями, но ни одного из них я не понимал. Даже в темноте я видел, какое у нее при этом перекошенное лицо. Почему я ничего не смог ответить?

На следующий день она уехала, а следующей ночью я вернулся на сортировку. Играть в купидона. До сих пор не знаю, как выглядит моя собственная жена. Она ни разу не посмотрела мне в глаза. Ни разу. Мы ни разу не встретились взглядами. Все наладится. Со временем она передумает. Может, кто-нибудь рассказал ей, что я вытворял с лысыми шлюхами?

Опять на сортировку, к огням, струям дождя и пронзительным воплям сумасшедшего громкоговорителя: *Links!*[14] и *Rechts!*[15] — отцы, матери, дети, старики, рассыпанные, как листья на ветру. Die… die Auseinandergeschriebenen.[16] И мне пришла мысль, заставившая все мое тело содрогнуться от стыда. Потому что поезда бесконечны и бесчеловечны, а ветер похож на ветер смерти, и

---

[14] Примечания: 14
Налево! *(нем.)*

[15] Примечания: 15
Направо! *(нем.)*

[16] Примечания: 16
Написанные раздельно *(южн. — нем.)*.

потому что жизнь есть жизнь (а любовь есть любовь), но кто сказал, что это должно быть легко.

Я подумал: хорошо же некоторым.

Теперь, когда война пошла успешнее, с заметным уменьшением объема работ после подвигов сорок четвертого года и на фоне всеобщего расцвета уверенности и благополучия ваш лагерный доктор, к своему приятному удивлению, стал находить свободное время для хобби. Троглодитские Советы отброшены в свои морозные рытвины — лагерный доктор поправляет монокль и тянется к самому запыленному из учебников. Или достает бинокль и раскладной табурет. Да чем угодно можно заниматься. В зависимости от природной склонности. Зима была холодной, но пришла осень — жнивье на полях и всякое такое прочее. Жеманная Висла. Никогда раньше не видел пуд вшей. Некоторые из пациентов выглядят так, словно усыпаны семенами мака. С добрым утром, шайсминистр! В одном из своих непостижимых писем Герта дошла даже до того, что усомнилась в *законности* работы, которой мы занимаемся. Ну-ка. Дайте-ка подумать… Ну, может, пара «серых пятен» и есть. Одиннадцатый блок. Черная стена, мероприятия Политического отдела: они вызывают оживленные споры. Ну

конечно, не оберешься мороки, если пациент «поступает по собственному усмотрению», с помощью ограды под током например. Все мы *терпеть не можем* таких моментов… Я славлюсь скромностью и трудолюбием. Другие врачи уезжают на несколько недель; но в летнем воздухе Кат-Цет мне не нужна «зоммерфрише». Правда, ощущать солнечное тепло на своем лице я люблю. Со своей новой лабораторией Дядюшка Пепи превзошел самого себя: мраморный стол, никелированные краны, запачканные кровью фарфоровые раковины. Провинциалка — вот кто она, эта Герта. Вы, конечно, знаете, что она не бреет ноги? Честное слово. Насчет подмышек еще могут быть разные мнения, но уж ноги-то — безусловно! — ноги… В своей новой лаборатории он может собрать человека из самых невероятных обрезков. На письменном столе у него полная коробка глаз. Нередко можно увидеть, как он появляется из фотолаборатории с человеческой головой в руках, полузавернутой в старую газету: несомненно, Рим нынче в нашей власти. Потом еще вспоминается полячок лет этак пятнадцати, который все спрыгивал со стола, утирая глаза, и снова потихоньку укладывался на обработку с помощью дружелюбно улыбавшегося санитара.

Мы вместе измеряли близнецов, Дядюшка Пепи и я, по многу часов: замеры, замеры, замеры. Даже самые исхудавшие пациенты выпячивали грудь для медицинского обследования в крайнем блоке справа: всего лишь пятнадцатью минутами ранее они неподвижно лежали на полу в «Ингаляционной». Было бы преступлением — было бы преступлением *пренебречь* возможностями, которые Аушвиц предоставляет для укрепления здоровья пациентов. Помню Дядюшку Пепи за рулем — он лично возил на своей машине ребятишек из «центральной больницы» в тот день, когда мы делали цыганский табор. Табор: розовые гвоздики, чумазая красота. «Дядя Пепи! Дядя Пепи!» — кричали детишки. Когда это было? Когда мы делали цыганский табор? До чешского хутора? Да. Задолго до. Снова приехала Герта. Ее второй визит нельзя назвать полностью удачным, но теперь мы стали гораздо ближе друг другу, вместе поплакали о ребенке. Что касается так называемых «экспериментов» Дядюшки Пепи: процент успешных операций у него достигал — вполне возможно, что и достиг, — ста процентов. Чудовищно воспаленное глазное яблоко излечивалось одной-единственной инъекцией. Бесчисленные яички и яичники транспланти-

ровались на место без единого шва. Женщины, выходившие из его лаборатории, выглядели на двадцать лет моложе. Мы с Гертой можем завести еще ребенка. Если я обильно рыдаю как до, так и после, она позволяет мне сделать его или хотя бы попытаться, но я стал импотентом и даже к шлюхам больше не хожу. Совсем обессилел. Совершенно беспомощен. Здесь везде сладковатый запах, сладковатый запах и ослепленные евреи. Дядюшка Пепи умудряется не оставлять рубцов. Здесь не только всеобщее благоденствие, знаете ли, ничего подобного. *Некоторые из пациентов были врачами.* И они быстро принимаются за старое. Я — известный борец с этой мерзостью. Скоро появится ребенок, и я очень беспокоюсь. Дядюшка Пепи прав: мне и впрямь нужен отпуск. Но поездка в Берлин на похороны, к счастью, оказалась короткой: помню только брызжущую мелким дождем мостовую, огни витрин, как лампы старого радиоприемника, мокрое кладбище, экзему и ожирение молодого священника, помню Гертиных родителей, Гертино страшное лицо. Идет война, неустанно повторял я всем. Мы на передовой. С чем воюем-то? С фенолом? По возвращении из Берлина в светлые просторы KZ меня, естественно, ждала телеграмма. Малышка

очень слаба, врачи сделали все, что могли. Гробик был длиной полметра. Я веду войну с фенолом, причем неблагодарную. Никто не высказывает благодарности. У меня появились какие-то респираторные осложнения. Наверное, астма на нервной почве — особенно когда кричу. Мне приходится кричать. Рвы забиты под завязку. В «Душевой», когда охранники трогают молоденьких девушек, я всякий раз протестую, а они в ответ изображают, будто играют на скрипке. Они думают, что теперь, став мужем и отцом, я обернулся сентиментальным ханжой. Конечно же, я скучаю по моей маленькой Еве; однако сейчас ситуация неблагоприятна. Я перестал ходить в бордель, но теперь, по крайней мере, я знаю, зачем ходил туда: за благодарностью. Эти пациенты-врачи совсем от рук отбились. Почему-то они особо рьяно вмешиваются в работу с детьми: как это бессмысленно и омерзительно, если принять во внимание, что дети, в конце концов, здесь долго не задерживаются. Я занимаюсь «этим» не ради благодарности. Если вам угодно знать *почему*, то я занимаюсь «этим» из любви к человеческому телу и ко всему живому. Мы не с фенолом боремся, нет, не только. В этом смысле фронт борьбы расширился. Это война со смертью,

которая теперь принимает разные формы. Наряду с фенолом нам приходится вытягивать синильную кислоту и эвипан-натрий. Время поджимает. Мы потеряли две «душевые». У меня екает сердце, когда финал так близко, а наверху еще много душ, они кружат, как отчаявшиеся самолеты над аэропортом. Нельзя не отметить отдельные исключения: старик, обнимавший меня за ноги и целовавший мои черные сапоги, девочка, жавшаяся ко мне после того, как я придерживал ее для Дядюшки Пепи. Но *ни разу* я не получил того, что можно было бы назвать трезвой и осмысленной благодарностью. О, я не жалуюсь. Но как приятно было бы. Дядюшка Пепи, бывало, благодаривший меня, исчез несколько месяцев назад, оставив меня одного. Я любил этого человека. Помимо синильной кислоты и эвипан-натрия, я теперь вытягиваю бензол, бензин, керосин и воздух. Да, воздух! Люди хотят жить. Просто до смерти хотят. Двадцать кубических сантиметров воздуха — двадцать кубических сантиметров пустоты — все, что отделяет одно от другого. Так что никто не благодарит меня, когда я, вооружившись шприцем размером с тромбон и твердо упершись ногой в грудь пациенту, продолжаю воевать с воздухом и пустотой.

ГЛАВА 6
Ноль помножить на ноль — все равно к будет ноль

Ну, и как так дальше?

Правильно, никак. Абсолютно никак.

И вот наступает момент, когда надо сказать: хватит — нельзя же, мол, идти на жертвы до бесконечности. Ах, Бог свидетель, я ведь не святой. Не для того я на свет родился, чтобы жить только ради окружающих. По-прежнему практикуя самопожертвование, я остро чувствовал, что пришла пора позаботиться и о собственной персоне.

Я служил Кат-Цет энергично, не пренебрегая семейным долгом и с чувством. Это что-то новое в моей жизни — чувства. Отъезд из Аушвица вспоминается мне как *мука*. Мне казалось, что я уже никогда не оправлюсь от мучений, которые пережил в последние дни и особенно в последние часы. Но когда я выехал в Берлин, все прошло, как приступ болотной лихорадки, и вытеснилось новыми эмоциями, множеством новых впечатлений, не лишенных в своей основе элементов боли.

Вероятно, эта боль — от молодости. Сейчас 1942 год. Мне двадцать пять лет… Поезд на Берлин, кстати, оказался весьма скорым. Аушвиц-Центральный — это вам не какой-нибудь полустанок. Это была самая крупная из железнодорожных станций, какие мне только приходилось видеть, и она обслуживала непосредственно всю Европу. Одна из последних наших партий направлялась прямо в Париж: спецэшелон 767, в Бурже-Дранси. Аушвиц оставался тайной. Он занимал четырнадцать тысяч акров — и был невидим. Он был — и его не было. Он был где-то не здесь. Как же так дальше?

Герта совершенно переменилась. Да, моя жена стала неузнаваемой практически во всех отношениях. Она все-таки *беременна* — явно, потрясающе — и балует меня донельзя. Не совсем понимаю, чем я заслужил такую поблажку. Наш немецкий ребенок просто поразительных размеров, пожалуй, больше самой матери. Герта — всего лишь бечевка, которой перевязана посылка со спящим младенцем. Пока что мы живем у ее родителей в маленьком, но удобном домике на южной окраине Берлина. Почти все наше время занимают болезненные измышления о том, как назвать малыша или малышку. Сперва мы

склонялись к Еве или Дитеру, потом решили иначе: Бригитта или Эдуард. Старательно и любовно Герта распускает одежду для малыша. И я тоже — каждый день мы сидим час-другой с тестем в садовом домике, разбираем колыбельку и стульчик. Наша комната, Гертина комната, кажется, в свою очередь готовится впасть в детство. Феи с обоев, улыбаясь, глядят на супружеское ложе — односпальную узкую коечку. Его молочный аромат окутывает Герту, ее потрясающие новые груди, яйцевидный живот. Младенец разделяет нас. Гораздо удобнее, когда Герта ложится на бок, а я занимаю позицию сзади. Только у меня все равно не встает, хоть ты тресни. Наверняка дело в нервном истощении; а может, и в пробуждаемом таким положением тел чувстве вины за ту благодарность, которую мне выражали в лагере. Хотя у Герты волосы есть: полно волос. Во всяком случае, она обсуждала проблему с врачом (вот гадство!), и он сказал, что это вполне обычная мужская реакция на женскую беременность. Да, может, из-за этого, а может, из-за работы, которой я занимался.

И продолжаю заниматься. Знаете, как это бывает. Говоришь: все, хватит с меня этих суетливых надоед и благочестивых постных рож! А потом

опять берешь и делаешь все, что можешь. После двухнедельного отпуска я отправился в пятимесячную командировку на Восток с отрядом СС, который работал в тылу отступавшей из Советского Союза армии. Хочется думать, нам многое удалось, хотя по сравнению с KZ это была просто чепуха. К тому же грубая работа. Да и с точки зрения эстетики, конечно, просто кошмар. Теперь я весь в эмоциях. Мир остается осмысленным, но эмоциям ведь не важен смысл, им подавай чувства… На моем лице тогда отражалась одна сплошная фрустрация. Как, например, когда я лежал во тьме, зажатый между переменившейся Гертой и холодной стеной — с полным осознанием сексуальной неудачи. Потом это происходит — то есть не происходит, — и ты включаешь свет и грустно одеваешься. Печаль твоя очень личная и очень тебе к лицу. Случайные взгляды Герты, взгляды ее матери и даже взгляд ее отца, суровый и уравновешенный, сочувственный (хоть мне это и не нужно): взгляды эти говорят, что я наделен ужасной и убогой силой. Я всемогущ. Но импотент. Я могуч и бессилен.

То было лето гроз, солнца и двойных радуг. Лето прозрений. Я встретил наконец младенца-бомбу, осуществив таким образом ироническое про-

рочество своих снов. И собственными глазами видел стоящие часы в Треблинке…

То, чем занимался отряд, можно было, пожалуй, считать естественным продолжением моей работы в лагере. Мы осуществляли связь между бюрократией и общественностью. В то время евреев рассредоточивали, внедряли обратно в общество, и нам предписывалось помочь расселить и демонтировать гетто, где постоянно отключался свет, а дети выглядели старыми и умудренными знанием, и двигались все либо слишком медленно, либо слишком быстро. Казалось, гетто, даже как временная мера, были ошибкой, и зарождалось мимолетное, но болезненное подозрение в том, что вся эта затея, вся мечта оказалась излишне, фатально грандиозной: много их, слишком много. Как хотелось опрокинуть эти стены… В одном гетто, в Литцманштадте, имелся свой «король» — Хаим Румковский. Я собственными глазами видел, как он проезжал по замершим улицам с придворными, похожий на бумажный мешок с водой и костями, и белая лошадка толкала его экипаж. Румковский был повелителем. Но чем он повелевал?

Что ж, мы энергично взялись за дело, стали развозить людей по деревням и тому подобное.

Обозники. Но в этой работе имелось и творческое начало. У нас были фургоны, такие машины с красным крестом на борту, а еще пулеметы и динамит. Оказалось, я просто талант по части нейропсихиатрии. Сотрудники, которых я консультировал (и которым прописывал успокоительное), жаловались на кошмары, тревожное состояние, диспепсию — но к концу командировки все они выздоровели. Методы наши, увы, отнюдь не всегда отличались изяществом; в тех случаях, когда применялся динамит, требовалось несколько часов утомительнейших приготовлений.

Однажды утром — косой дождь со снегом, замерзшие лужи — мы выгружали несколько еврейских семей в убогой деревушке у реки Буг. Порядок был обычный: мы извлекли эту партию из массового захоронения в лесу и, стоя у фургона на проселочной дороге, дожидались, пока сработает окись углерода. Все мои сотрудники были одеты врачами, в белые халаты, они стояли с болтавшимися на шеях стетоскопами и покуривали, ожидая знакомой волны криков и ударов из фургона. Я и сам примирительно попыхивал папиросой…

Затем мы подвезли их поближе к городу, где

один из наших уже готовил ворох одежды. Они выходили один за другим. Среди них были мать с ребенком, пока, естественно, обнаженные. Ребенок кричал требовательно и громко, и подолгу: вероятно, боль в ушах. Мать совершенно извелась от этих воплей. Она выглядела и вправду оглушенной — лицо совсем помертвело. Подумалось даже: может, она не вполне отошла от угарного газа. Я был заинтригован.

Потом мы повели эту группу — душ около тридцати—в низенький барак, заваленный примитивными швейными машинками, иголками, кусками одежды. Обычно в таких случаях приходилось растаскивать пациентов по сараям и погребам. Но эти евреи во главе с плачущим младенцем торжественно миновали анфиладу свисавших с потолка занавесок и одеял и один за другим стали задом пролезать в дыру в стене. Эту дыру я потом сам прикрыл широкой доской, тихо сказав им при этом «Guten Tag».[17] Что сказать? Меня растрогало их долгое молчание, плач ребенка. «Raus! Raus!»[18] — крикнул я сотрудникам, которые возились вокруг, осматривая помеще-

[17] Примечания: 17
«Здравствуйте» *(нем.).*

[18] Примечания: 18
«Вон! Выходите!»*(нем.).*

ние, раскладывали всякие безделушки, кое-какую еду, хлеб, помидоры, оставляли что-нибудь евреям, как обычно. «Raus! Raus! Raus!» Оставшись один в опустевшем бараке, я притаился у стены и прислушался. К чему? К плачу ребенка и к тому звуку, который издает, наверное, весь мир, когда пытается кого-то успокоить: «Ш-ш… Ш-ш». Тише. Я вышел на цыпочках и присоединился к своим коллегам. Тише. Лучше оставить их там. Может, они так успокаивают своих детей. Забираются по тридцать человек в черную нору и говорят: «Ш-ш». Ребенка, понятно, здесь очень любят. Но власти, разумеется, у него никакой нет.

Вот наконец и Треблинка, мы заехали сюда просто по дороге с визитом вежливости, когда возвращались через северную Польшу домой в Рейх. Дело сделано, и там тоже все уже было полуразобрано. Как и в Аушвице, место не было отмечено никаким памятником. Но я не совсем опоздал. Я успел увидеть знаменитый «вокзал» — бутафорский, один фасад. Сбоку он выглядел как устремленный в зимнее небо лубок. Затея состояла, конечно, в том, чтобы успокоить евреев — из Варшавской, Радомской, Белостокской областей, которые обслуживал лагерь. Висели всевозможные таблички: «Ресторан», «Билетные

кассы», «Телефон», указатели, куда идти, и часы. На каждом вокзале, в каждом путешествии нужны часы. Когда мы приехали туда, чтобы осмотреть гравийный карьер, большая стрелка была на двенадцати, а маленькая на четырех. Но это неверно! Сбой, ошибка: точное время 13.27. Но потом мы возвращались обратно, а стрелки не стали показывать более ранний час. Да и как бы они могли сдвинуться? Они были нарисованы и другого времени не показывали никогда. Под часами находилась огромная стрела-указатель, надпись гласила: «Пересадка на поезда восточного направления». Но время там направления не имело.

Вокзал в Треблинке — действительно интересное место, где четыре измерения расположены очень странно. Место, существующее лишь в двух измерениях, без глубины. И вне времени.

Герта по-прежнему добра, во всяком случае ничего не говорит по поводу моей импотенции. За время командировки я, конечно, и не надеялся быстро восстановить форму. Но это даже смешно. Мне кажется, моя работа отнимает у меня так много чего-то важного, что ничего и не остается. Ничего не остается Герте. В этом смысле я, кажется, приношу последнюю, высочайшую

жертву. На приеме у меня молодые солдаты с восточного фронта упоминали в числе главных проблем импотенцию. Я отвечал просто, велел не переживать. Юмор состоял в том, что я сам страшно переживал, до полусмерти. А та половина, что оставалась живой, переживала именно из-за импотенции. Да, забавно: говорить им, что они должны сохранять твердость *(Härte),* что они должны быть мужчинами *(Menschen).* Вот так мы и сидели друг против друга, два унылых нуля. Помножь ноль, да что угодно, на ноль и все равно получишь ноль. Более того, я еще немножко позанимался арифметикой, сложил одно с другим и вычислил: что-то должно случиться до того, как я получу новое назначение, — из-за ребенка. Наш ребенок — это тоже бомба, мина с часовым механизмом. А если этого не сделаю я… Живот у Герты сильно уменьшился. Я больше не должен безвольно пристраиваться к ней сзади. Теперь я безвольно устраиваюсь на ней сверху. Я… я блистаю своим отсутствием. Слава богу, мы больше не говорим на эту тему. Но не заметить такого нельзя.

Любовный акт все же удался — пусть однажды, пусть едва-едва — прямо перед тем, как я получил назначение в Шлосс Хартхайм. близ Линца, в

провинции Австрия. В самый последний момент: это случилось посреди бури рыданий, к которым, наверное, с ужасом прислушивался весь дом. Я еще плакал, обуваясь и подхватывая чемоданчик; после нескольких отчаянных объятий я окунулся в снег и звезды — созвездия снежинок, звездную вьюгу.

Расположившийся в часе езды от Линца в сторону Эфердинга, Шлосс Хартхайм с его арками, и двориками, и ухоженными парками выглядел идеальным местом для моего окончательного выздоровления. До недавнего времени в этом дворце эпохи Ренессанса находился детдом. Когда, рассеянно стуча зубами, сидишь на скамейке в замерзшем саду, где трава похожа на вставшие дыбом белые волосы, кажется, можно услышать призраки детских криков — должно быть, здесь и играла многочисленная малышня. Сзади высокие окна, по пять штук, а проглядывающий в них интерьер всякий раз приобретает оттенок жидкой подливки. Ведро, швабра, санитар в белом халате, мутный взгляд пациента. И вновь этот запах. Сладковатый запах… Я наклоняюсь и поднимаю мертвую птицу, обвисшие крылья которой напоминают открытый веер или берлинские улицы под маскировочными сетками. В

Берлине меня ждет Герта.

Шлосс Хартхайм стал для меня промежуточным этапом, частью программы постепенного избавления от опыта Кат-Цет. Если не считать очевидных различий в масштабах, между ними было много общего. Тот же дух коллегиальности, масонская неразговорчивость и инстинктивная осторожность, те же товарищество и выдержка, та же опора на алкоголь. Моя должность — между двумя старшими офицерами медицинской службы и четырнадцатью санитарами (семеро мужчин, семь женщин). Здесь у нас не стационар, ни один пациент не остается на ночь. Подъезжает автобус с закрашенными окнами, открываются ворота. И его поглощает легендарный замок, холодное и усталое волшебство Шлосс Хартхайма.

Порядок был следующим. На первом этапе привозилась стандартная урна с прахом, поступавшая прямо от родственников пациента, а заодно те извещали берлинский Департамент почтовых соболезнований, с которым мы работали параллельно. Эти кучки пепла сопровождались свидетельствами о смерти конкретных лиц; но пепел есть пепел, на вид не отличишь, и он отправлялся прямиком в печь Хартхаймского крематория. Что же было не так? Что случилось?

Неисправная печь? Или все дело в Камере? Беда в том, что люди, которых мы производили, оказывались негодными. Все волшебство и исступление, бессонница и диарея Аушвица — все было напрасно. Да, именно так: камеры, смотровые кабинеты, тихие сады Шлосс Хартхайма — все пронизывало ощущение неудачного чуда. Поначалу-то пациенты выходили не такие уж плохие. Где-нибудь небольшой дефект. Косолапость. Волчья пасть. Но потом пошли абсолютно безнадежные. Я стараюсь не присматриваться к этим пациентам, когда выпроваживаю их с бумажными слюнявчиками из Камеры; я поглощен тем, что представляю себе свои внутренности, и мне кажется, там есть что-то тяжелое и инородное, как свинцовая труба, оно постоянно мешает. Вон слепцы — робкие, нерешительные. Вот глухие с их кривобокими несимметричными лицами. Седовласая дама очень мила, но все совершенно неправильно. Сумасшедший парнишка с воплями гоняет санитаров по сырым коридорам. Сумасшедшая девочка, с задранным подолом, на корточках в углу выделяет изо рта нечто недопустимое. У нас есть поговорка: не все живое достойно жить; не знаю, как там и что, но они никому не нужны, даже нам, и в тот же день

их куда-то увозят на автобусе с закрашенными окнами.

Герта старается навещать меня как можно чаще, но получается не слишком часто, ведь идет война. Мы останавливаемся в гостинице «Три кроны» на Ландштрассе у Линца, и у меня не встает, а однажды мы провели романтический уик-энд в Вене в гостинице «Гретхен», но у меня и там не встал. В деревне есть маленький офицерский флигель, где я могу дать волю своей импотенции, и в этих гигиеничных апартаментах мы все чаще и останавливаемся. А время идет, и Герту, очевидно, все больше расстраивает моя немощь. Она говорит, что я переменился, но, по-моему, это неправда. Сколько себя помню, я всегда был импотентом. Еще она укоряет меня по поводу работы, которой я занимаюсь в Шлосс Хартхайме. Деревню наводняют слухи, сплетни — туалетные разговорчики. Она все неправильно поняла, но и я уж слишком презрительно отмахиваюсь. Мы держимся за руки над столиком в кофейне. Мы расстаемся. Позже, в сумерках, потерянно попыхивая папиросой, я поднимаюсь пешком в гору к Шлосс Хартхайму. Западный горизонт вздернут заячьей губой, и в темном небе над арками и фронтонами теснятся наши

непристойные ошибки, облака-гидроцефалы, пепел из наших печей. Я вижу, как белоснежный локон взмывает в высь, как его увлекает неудержимый и непознаваемый ритм воздушной стихии. Сегодня в подвале замка будут праздновать прибытие пятитысячного пациента (хотя я уверен, что через нас прошло больше, гораздо больше), будет Манфред со своим аккордеоном: песни, тосты, розовые клоунские колпаки. Будет наш скиталец-директор Кристиан Вирт: брюхо, цветистая речь, багровое лицо пьяницы. Будет и сам пятитысячный пациент в бумажном колпаке (и бумажной рубашке), приостановленный на полпути между огнем и газом в ожидании своей меры уродства, галлюцинаций и вечной чесотки. Дальше он, Одило Унфердорбен, идет один.

Совсем один.

Я, у которого нет ни имени, ни тела, — я выскальзываю из-под него и рассеиваюсь поверху, как хлопья пепельно-белых человеческих волос. Я больше не в силах жить с поверженным богом, преданным и побежденным собственной магией. Взывая к силам, к которым лучше не взывать, он разбирал людей — а потом собирал их воедино. Какое-то время у него это получалось (незабываемое чувство искупления), и пока получалось, мы

были с ним единым целым на берегах Вислы. Он собрал нас воедино, но с людьми, конечно, так нельзя… Вечеринка закончена. Он лежит в чердачной спальне, окруженный облупившимися обоями, на своей раскладушке в форме сточного желоба. В руках он сжимает влажную розовую подушку. Я всегда буду рядом. Но теперь он сам по себе.

ГЛАВА 7
Любит — не любит

Мир вновь лишился смысла, и Одило снова обо всем забывает (что, может, и к лучшему), война закончилась (мы ее, по-моему, откровенно продули), а жизнь какое-то время еще продолжается. Одило невинен. В его невинных снах нет места угрозе и тошноте. Он, конечно, карабкается, дрожа, по скользким шестам высотой до Луны, вприпрыжку бежит нагишом по туннелям под звон будильника и т. п. — но тревожные отзвуки сошли на нет. Напротив, его сны полнятся грубым ликованием по поводу сундуков с сокровищами, белокурых локонов и спящих красавиц. И унитазов. Дух-хранитель этих снов — уже не мужчина в белом халате и черных сапогах, а женщина, размером и очертаниями похожая на парус галиона и способная все простить. Подозреваю, что это его мать, и мне не терпится узнать, когда же она объявится. Одило невинен. Одило, оказывается, невинен, чувствителен, популярен и глуп.

И могуч. Никакой властью он, конечно, не наделен и покорно, как овечка, исполняет свои

обязанности в медицинском корпусе запаса. Но потенция у него есть. Спросите малышку Герту, и она сокрушенно подтвердит. Еле ведь ноги переставляет, бедняжка. Национал-социализм — не что иное, как прикладная биология. Одило — врач, солдат биологии. Так что эта их с Гертой двухлетняя оргия, должно быть, часть его личной кампании. Он на действительной службе, он пропах порохом и ради ребенка бросается на амбразуру. Да, они все еще хотят ребенка, пусть Ева стала для них горьким разочарованием. Когда Одило раскорячивает Герту на кровати, согнув так, что лодыжки оказываются по разные стороны изголовья, можно подумать, он пытается что-то убить, а не сотворить. Но мы уже знаем, что здесь, на земле, творчество осуществляется насилием. Такой потенции у нас никогда еще не было, даже в Нью-Йорке, когда мы меняли медсестер как перчатки. Герта порой выглядит так, что она, кажется, охотно смирилась бы с небольшим периодом импотенции. Но покой нам только снится, и то не всегда. Не могу понять, отчего все так изменилось. После Шлосс Хартхайма, где я служил, казалось, целую вечность, мы втроем переехали из дома ее родителей в Мюнхен, к приальпийскому воздуху. Прочь из Гертиной детской

комнаты, от хранивших ее ангелочков на стенах. Здесь, в новом жилище, нас охраняют скелет из белого дерева и анатомические картинки с их рыжим мясом.

Немецкая девушка естественна. Она — такая, какая есть. Без косметики и с волосатыми ногами. Но Одило не возражает. Он фактически запрещает ей пользоваться косметикой, даже мылом; а что касается волос на голове и по всему телу, хрустких подмышек, локонов вверху и кудряшек внизу — подозреваю, что будь Герта шерстистее яка, Одило и тогда не возражал бы. Он зовет ее своей *Schimpanse* — своей шимпанзе. Должен сказать, что я от нее тоже балдею. Тело Герты пахнет молодостью. Ее ушки как пряники, ее зубки как конфетки, ее плоть упруга, как плоть маслины. Сперва она не проявляла такой страсти, вечно жаловалась на усталость, боли и дурное настроение; но нынче, как твердит Одило всем своим друзьям (а этот комплимент, думаю, дорогого стоит), она подмахивает, как дверь сральника в бурю. Герта такая маленькая, что явно напрашивается на строгость. Ей восемнадцать. И она все уменьшается. Не следует впадать в пессимизм, и нет смысла заглядывать слишком далеко, но через пару лет это потянет на растление несовер-

шеннолетних.

Как все это приятно. Теперь, с приближением свадьбы, Одило немного успокоился. Он перестал психовать. Его шимпанзе больше не должна прибираться в доме голой и на четвереньках. Герта отвечает благодарностью и совершенно безграничной, ранее невиданной нежностью… Выходит, сексуальный экстаз — в каком-то смысле рептильное состояние. Разум, душа, высшие способности — самоустранились. Равно как и рептильный мозг, едва ли не в первую очередь. Об этом стоит поразмыслить. Когда встречаются человеческий и рептильный умы, они норовят причинить друг другу вред, сами оставаясь в безопасности. Но когда речь только о телах, они, такое ощущение, стремятся делать добро и идут на сближение с максимальным риском для себя. Не знаю. Я все еще здесь, в постели с ними, и мне нравится; но илистый экстаз принадлежит Одило, этому влажно блестящему ящеру, и Герте, влажно блестящей ящерице, их миру сочной слизи, где не нужны слова: достаточно кряхтения и стонов… Их любовная жизнь планомерно избавляется от всяческих отклонений. В частности, раньше они играли в такую игру (пару раз в неделю или чаще, если Одило настаивал): Грета

должна была всю дорогу лежать не шевелясь и не подавая признаков жизни. Или, скажем, он проявлял здоровый интерес к работе ее кишечника — как умел. Но все это уже позади. Когда она плачет и дуется, он осушает ей слезы поцелуями, а не тычком в грудь. Да она теперь почти и не плачет: до свадьбы осталось лишь несколько недель. Все реже и реже, хотя по-прежнему довольно регулярно (да почти каждый вечер), Одило нарушает рептильный союз и с энтузиазмом стремится к стаду дружков, к силе их безликого множества, теплу их стойбищ и лежбищ. С искаженными лицами младенцев мы орем и отрыгиваем жидкость; у каждого из нас в отдельности нет ни силы, ни мужества, но вместе мы составляем пылкую массу. Часто ночное веселье начинается с того, что мы идем помогать евреям. Официально у Одило, Герты и меня сейчас медовый месяц, но в свадебное путешествие мы не поехали. Разве что опять в Берлин, на свадьбу.

Я-то всегда относился к евреям совершенно недвусмысленно. Я люблю их. Я, можно сказать, семитофил по природе. Больше всего меня восхищают их глаза. Этот блестящий страстный взгляд. Экзотика, намек на запредельность — кто знает? Да и зачем расписывать их *достоинства?*

Детей у меня нет; мои дети — евреи, я люблю их родительской любовью, в том смысле, что не за их достоинства (с моей точки зрения, конечно, выдающиеся), а просто я хочу, чтобы они были, благоденствовали и пользовались правом жить и любить.

Я помню их имена и лица; имена я слышал на утренних перекличках у ратуши или возле пустых топливных ям и противотанковых рвов, в свете полицейских костров, в зонах ожидания, на вокзалах, на зеленых ночных полях. Я видел имена в отпечатанных списках, квотах, воззваниях. Лонка и Маня, Зонка и Нетка, Либиш, Фейгеле, Айзик, Яков, Мотл и Матла, Ципора и Маргалит. Появившиеся из Аушвица-Биркенау-Моновица, из Равенсбрюка, Заксенхаузена, Нацвейлера и Терезиенштадта, из Бухенвальда, Бельзена, Майданека, из Белцека, Хелмно, Треблинки, Собибора.

Болезненная улыбка, которую вымучивал Одило на протяжении всей свадебной церемонии, теперь, задним числом, представляется даже слишком уместной. Я все время замечал его злобное зырканье настороженного деревенщины в многочисленных зеркальцах, которыми обклеили свадебный венец Герты (традиция: чтобы

отпугнуть злых духов, и всякое такое). Да, его улыбка была прекрасным комментарием к происходящему — равно как и болезненно-шумные хлопки по спине, которыми одаривали его новые приятели. Как еще должно выглядеть, когда всему говоришь прости-прощай, когда прошлую жизнь сметает вихрь конфетти и риса? Она вручила мне венок из мирта, шафран и корицу, хлеб, масло и тому подобное. А я вернул ей всю свою власть. Она сняла кольцо с безымянного пальца левой руки и надела на безымянный палец правой, и я сделал то же самое. Все говорили, что луна благоприятная: молодая. Но я-то видел луну над головой, она была на исходе. Оттого и невыносимые удары по плечу и спине. Оттого и говноедская улыбочка. Оттого и торжествующий смех Герты.

Она радостно возвращается под родительский кров и лежит там среди златокрылых ангелочков. А Одило? Ради бога, где же *наши* родители? Я вдруг оказался в пятиэтажном общежитии, провонявшем капустой и кедами, в одной мансарде с Рольфом, Рейнхардом, Рюдигером и Рудольфом; не жизнь, а кошмар *(Alpdruck)* — сплошные учебники, битвы на полотенцах, шуточки о бабах и трупах. Точно: я в медицинском училище. И к

тому же — в Новой Германии, такой же нервный и подозрительный, как все. Даже улицы теперь чем-то похожи на общагу: давление толпы и непредсказуемое напряженное внимание, подростковое, неприятное, сексуальное, но подспудно-сексуальное, не до конца оформленное, выражающееся во всяких смешных позах, над которыми нельзя смеяться. Только посмейся над этими смешными позами — и все уже готовы тебя убить. Как здорово, что меня убить невозможно. Убить нельзя, но я не бессмертен. Что стало с нашей зрелостью?

Могло быть и хуже, ведь мы все-таки ежедневно видимся с Гертой в училище: она работает в секретариате — машинисточка, юбочка в обтяжку. Я частенько задерживаю ее минут на десять в коридоре, да и в кафетерии сажусь поближе к ее столу, а еще есть лестничная клетка, куда мы ходим целоваться — пить дыхание друг друга. Кроме того, есть еще парковые скамейки и темные подворотни. Микки Маус хихикает, а Грета Гарбо оскорбленно отводит взгляд, чтобы не видеть, как мы унизительно корчимся на короткошерстных креслах кинотеатра. Мы жмемся друг к другу, незаметные в толпе среди витрин и уличных фонарей. Я многого добился

за те десять минут в прихожей у ее родителей, пока они расставляли грязную посуду к обеду… А еще на пикниках весной и летом. Среди дельфиниумов, львиного зева, шток-розы розовой, на одеялке возле корзинки она одаривает меня ностальгической лаской — за которой всегда следует несколько часов слезливых уговоров со стороны Одило. Прислуживаем там, где раньше царствовали. Его излюбленный подход — расписывать, как фрустрация вредит его здоровью. А еще обычно помогает — называть цветы их английскими именами. Леса раскрепощают ее. Немецкая девушка естественна. Одило испытывает истерическую благодарность за каждый достающийся ему под лесной сенью кусочек руки, глаза или рта. А я нет. Он забывает. А я помню. Это мучительное ощупывание. Меня раздирает эротический реваншизм… И я знаю еще кое-что, о чем он, по-моему, даже думать боится: в этом плане ему ничего больше не светит. Будущее всегда сбывается. Мы грустно собираем ромашковые лепестки. Любит — не любит… Вообще-то, мы уже едва осмеливаемся смотреть на нее, малютку-машинисточку, такой властью она обладает. *Ja* — говорят тусклые призраки ярких букв на деревьях проспектов. *Nein* — говорит Герта, хватает

мою ладонь и раздраженно прикладывает ее к своей недоступной промежности. А поздним вечером пора в училище: прости-прощай, скуловая кость, ксантелазма век, заворот кишок, — наконец все это дерьмо можно забыть. Но основная часть уроков, к удивлению моему, посвящена не механике человеческого тела, а административному устройству больницы. Иногда, глубокой ночью, когда все немцы смотрят свои немецкие сны, мы с Одило крадемся на крышу общежития. Там мы преждевременно (и немного параноидально) попыхиваем папиросой и смотрим на звезды, которые, видимо, услаждают наш взор.

Сопоставимое удовольствие — по крайней мере, мне — доставляет наблюдение за евреями. Люди, которым я помог сойти с небес. И меня вдохновляет величие вклада, который им, совершенно очевидно, суждено внести. Все окупится. Поначалу благоразумно-настороженное — вероятно, по причине их небывалого количества (ведь они съезжаются теперь отовсюду, из Канады, из Палестины), — немецкое общество раздвинулось, давая место новичкам. Их проворная ассимиляция и уверенное преуспевание порой вызывали громкое недовольство. Евреи устраивались на все выгодные места, особенно в медицину, что

приводило в бешенство Одило и его друзей, да и меня, честно говоря, беспокоило. Не для того я столько перенес, чтобы увидеть, как мои дети становятся *врачами.* Но какого черта. Кто-то ведь должен этим заниматься, почему-то. Несмотря на мои усугубляющиеся проблемы и одиночество, отмена расовых законов всякий раз меня воодушевляет. Хотя и тут сработала какая-то садистская ирония, ведь эти прогрессивные меры неизменно совпадают с каким-нибудь новым Гертиным запретом. Да, конечно, очень смешно. Шаг за шагом, помаргивая, евреи выходят на свет. А меня постепенно деклассируют. Сводят на нет и отвергают любые любовные вольности. Вот примеры.

Слепые и глухие евреи могут теперь носить на улице нарукавные повязки, удостоверяющие их недуг. В плане Гертиных утех я лишился нижней части тела, нижнего сердца. Навеки распрощался со всем, что ниже пояса.

Евреям разрешили держать домашних животных — птичек, собачек и т. п. Их выдают в полицейских участках; разбирая новых любимцев по домам, евреи плачут от благодарности. Герта стала по-другому дышать, когда мы целуемся; она все время начеку. Каждое мое движение

хладнокровно отслеживается.

Евреям разрешили покупать мясо, сыр и яйца. Загородные вольности решительно аннулированы, сколько бы я ни хныкал насчет здоровья, а перечислять английские названия цветов могу теперь хоть до посинения.

Евреям позволено дружить с арийцами. Герта больше не говорит: «Я люблю тебя». А я еще говорю. Поцелуи до какой-то степени продолжаются, но контакт языками совершенно verboten.[19]

Отменен комендантский час для евреев. Он действовал с девяти вечера летом и с восьми вечера зимой. Герта должна быть дома в полдевятого в любое время года.

Обозначение «неверующий» перестало быть обязательным для евреев. Но должен признать, что я сам теперь не верю.

Любит — не любит, плюнет — поцелует. Я два часа трясусь на автобусе и трамвае ради одного-единственного чмока в щечку. Скоро она отпразднует шестнадцатилетие. Тогда что? Мы хоть за руки-то будем держаться? Порой я ловлю себя на том, что, потеряв самообладание, убеждаю Одило прибегнуть к насилию (скорее, пока

---

[19] Примечания: 19
«Запрещен» *(нем.).*

ей еще нет пятнадцати) — насилию, которое все сглаживает и лечит. Но на самом деле я не очень-то верю в это рискованное предприятие. Способен он на такое, как вы думаете? Есть это в нем? Я пришел к выводу, что Одило Унфердорбен как моральное существо абсолютно типичен, обречен делать то, что делают все остальные, хорошее и плохое, без ограничений, лишь бы в толпе. Он не способен стать исключением; он зависит от здоровья своего общества, нуждается в переменчивых улыбках Рольфа, Рудольфа, Рюдигера и Рейнхарда. В «хрустальную ночь», когда мы все бесились, играли и помогали евреям, и хрусткие осколки разлетались веером, точно звезды или души, Герта наклонилась вытереть губы розовым платочком, прежде чем выплюнуть мой язык. Может, в этом повинны евреи? Тот ее локон, который хранился в коробке от таблеток, — почему Одило вернул его? Теперь я отчетливо вижу и могу оценить форму и размер — точно по росту — надвигающегося одиночества. Она дарит мне цветы, но не любит меня. Она меня не любит.

Still, sprich durch die Blume. Тише, говори цветами. Знаю, жаловаться нельзя: начать с того, что это противозаконно… Она больше не разговаривает со мной. Это был вопрос времени. Тише.

Однажды, выйдя на автобусной остановке, она всего лишь помахала мне рукой на прощание. Я все так же поджидаю ее по вечерам и с бешено стучащим сердцем незаметно провожаю до училища. И вот она движется под моим взглядом, который более не властен удержать ее или остановить. А потом она пропала. Ее маленькая фигурка исчезла навсегда, оставив за собой зияющую пустоту такой же формы. Я ищу ее повсюду — но *он* не ищет. Одило вылечился по-идиотски быстро. Собственно, теперь он вздыхает — платонически, но все же — о белокуром Рейнхарде. Уже на следующий день профессор сделал ему замечание за глупый смех на обшей анатомии: Рольф и Рудольф перебрасывались шуточками насчет нового женского трупа. Я страдаю в одиночестве. *ArztfürseelischesLeiden* — гласят плакаты в окнах первого этажа. Доктор для слабых духом. Что ж, похоже, мне как раз нужен такой доктор. Сейчас мы проводим много времени в больнице как посетители: наконец-то объявилась наша матушка. Зовут ее, между прочим, Маргарет. Мы с Одило проветривали новую квартиру, пока там не стало невозможно дышать от ее запаха. Наверное, мы будем жить вместе, я так понимаю. По крайней мере с ней хоть можно будет поговорить. По-ан-

глийски. Она мне напоминает Айрин. Все время твердит: «Где я? Где я?»

— В больнице, — угрюмо твердит в ответ Одило. — В больнице. В больничной палате. *DasKrankenhaus, Mutti. ImKrankenhaus.*

В *чем?* Я хочу взять ее за руку и сказать: «Мама, ты на огромном сфероиде, который похож на хрустальный шар, обернутый легкой хлопковой ватой. Вокруг него летают птицы. Мама, ты на планете Земля».

Частъ третья

ГЛАВА 8
Потому что утки жирные

Еще в Шлосс Хартхайме я подумывал о сентиментальном путешествии в Аушвиц. Туда, где спустились с небес пронумерованные евреи и прочие, без номеров; в то место силы у слияния рек, где какое-то время не существовало «почему». И мечта сбылась. В 1929 году. К тому времени я уже изрядно поездил, во время военной службы и трудовой повинности, на спортивные уик-энды «Силы через радость» и тому подобное, и думал уже, что мечта не сбудется. Но она сбылась. Мне тогда было тринадцать.

У нас был турпоход от одной из молодежных организаций, что образовались на осколках «Стального шлема». Бесцветным от тумана утром мы разбили лагерь на левом берегу Солы. Я совершенно бездумно раскатал спальный мешок, хотя и успел заметить участки триостренника, знакомой болотной травки с тройными распушенными кончиками. Ночью, пока Одило спал, она пробудила во мне смутные подозрения и тревогу. Когда я проснулся, воздух был теплым,

а ночное небо ясным, и звезды на нем складывались в надежно зашифрованное послание. Мы, как положено, посидели у костра, попели песни, покричали речевки, поорали йодлем;[20] потом я взял ведра, и мы с Дитером, в которого Одило был влюблен, пошли отнести воду на отмель. Да вот же оно — слияние рек под полной луной и железнодорожные рельсы, остановленные на бегу.

Потом мы прошли мимо того самого места. Там стояло десятка два кирпичных хибар, не развалившихся, очевидно, только за счет наросшей на них грязи (австрийские артиллерийские казармы, к следующей войне), а чуть подальше — горстка нелепо безликих зданий, которые, как я узнал, принадлежали «Польской табачной монополии». Освенцим. Аушвиц. Вдали, за березовой рощей, лежал Биркенау: вдали, за березовой рощей, лежал березовый Биркенау,[21] где я пребывал в гармонии с движением природы. Все крутом было печально и невинно. Вся суть, вся чудесная сила была напрочь смыта временем и погодой.

---

[20] Примечания: 20
Йодль — манера пения у тирольских горцев.

[21] Примечания: 21
Birken *(нем.)* — березовый.

Сейчас мне три года, я живу в довольно стесненных обстоятельствах на южной окраине города под названием Золинген.

Золинген знаменит своими ножами, ножницами и хирургическими инструментами. С территории, охватывающей значительную часть Центральной Европы, ножи, ножницы и хирургические инструменты свозят сюда, в Золинген, и превращают в сталь. А еще совсем недалеко к вашим услугам гольф, верховая езда, теннис, стрельба из лука. И наконец, скромный Золинген гордо хранит тайну. Так получилось, что тайну пока знаю я один. Вот она: в Золингене родится Адольф Эйхман. Ш-ш. Тише. Никому не скажу. А скажи я, кто мне поверит?

Скоро я тоже рожусь. Вот этот типовой домик станет местом моего рождения. Ситуация, похоже, дрянная, но я стараюсь не унывать. В общем-то периоды ясности делаются все короче и реже. Отец — желтокожий скелет с обкромсанной правой ступней. Мама похожа на теплую сдобную булку в глазурной ночной рубашке. Она медсестра: работает в золингенском доме престарелых. Одило проводит дни сказочно беззаботно, но порой приходится поплакать, пока отец не снимет боль ритмичными, снизу вверх, мазками

костистой руки. Тогда мы снова счастливы и хулиганим напропалую. На словах мама заступается, но он сильнее. Утро воркует мне и Одило на языке, который слышим только мы. Нашей маме мы говорим примерно вот такие веши:

— Мамуля? Цыпленки зывые. Мы их ловим и палим — и тогда они мелтвые! Но цыпленков нельзя кусать. Маленьких и хороших цыпленков нельзя кусать. Потому сто они холосые. Их мозно только гладить, и все. А уток кусать *мозно*. Потому сто утки зылные.

Погодите. Тут ошибка. Ошибка. В категориях. Мы ублали. Мы налозили. Мы ублали, мы налозили, души-то мы их убилали. Но почему так много детей? Что это на нас нашло? Почему так много? Мы были жестоки: детям и вообще недолго светит. Но ведь я сам принял это решение, не так ли? Почему? Потому что младенцы жирные? Но теперь мы убегаем, стремглав несемся через поле, где все живое множится с импульсивностью отчаяния, и нас ежесекундно швыряет от радости к ужасу, наша голова полна нелепых возражений на нелепые предпосылки, мы невинны, невежественны и сроду никого не знали, ни Айрин, ни Розу, ни Герту, ни тех евреев, которых я сделал.

Только маму. Наши отношения уже очень близ-

кие и, если все пойдет нормально, скоро станут совсем интимными. Например, много-много часов каждодневно и еженощно я буду проводить у нее на руках, целуя ей грудь. (Это будет можно. Он никак не сумеет помешать.) Затем в конце концов между нами будет установлена телесная связь с помощью золингеновских ножниц. А когда я войду в нее, как же она будет визжать и плакать. Оттого что я ухожу. Одило сам не знает, какой властью над ней мы обладаем и как сильно она нас любит: он не чувствует, как она подходит ночью, раскутывает нас, щупает нам лоб и плачет от тревоги, когда мы болеем… Скоро вся она достанется отцу. Мне кажется, он умирает от голода. Худой, как «мусульманин». Сколько бы он ни ел, ему все мало. Мало — недостаточно, чтобы душа держалась в теле. Усмехаясь про себя, я зову его *Fatti*.[22] Бешенство, непримиримость, подавленность запеклись вокруг его глаз темной коркой, лицо потрескалось от поражения и незаживающих ран. Он, наверное, поправится после войны. Заживет искалеченная нога. Естественно, я не прощу своего отца за то, что ему придется сделать со мной. Он войдет и убьет меня своим

---

[22] Примечания: 22

Fatti *(нем.)* — папочка. Созвучно fatty — толстячок *(англ.)*.

телом. Одило тоже это знает и чувствует.

Я должен сделать одно последнее усилие, чтобы достичь ясности, чтобы меня правильно поняли. Напоследок меня занимают лишь проблемы времени — продолжительности некоторых его отрезков. Даже в тех обстоятельствах евреев слишком долго заставляли ждать на городских площадях, и дети начинали понемногу сходить с ума, а теперь я знаю, как они сходят с ума на первых этапах творения: как быстро разрушаются их миры. Евреев слишком долго заставляли ждать на летних лужайках под стремительными небесами, слишком часто процесс воссоединения семьи был чересчур томителен, и дети бегали туда-сюда, пока не замирали со вздернутыми, как клешни, руками, а через каждые несколько шагов на земле лежали грудные младенцы и плакали, а родители не подходили к ним, слишком долго не подходили. Теперь сны Одило состоят из красок и шумов, наполнены восторгом или ужасом, но смысла в них никакого больше нет.

На какой-то миг он замирает посреди поля. Только на миг. Его время уже не измеряется более длинными промежутками. Он должен действовать, покуда еще длится детство, пока все вокруг существует ради игры — даже его собственные

какашки. Он должен действовать, пока никто не пришел и не забрал его детство. А они придут. Я надеюсь, врач будет одет во что-нибудь хорошее, нормальное, а не в белый халат и черные сапоги, что наверняка… Я сам. Ошибка. Ошибка… Мы ублали, мы налозили. Смотрите! Вдали, перед заросшим соснами склоном, собираются лучницы с мишенями и луками. Наверху — свет, какой бывает, когда слепнешь, и небо сражается с тошнотой. Со множеством оттенков тошноты. Одило закрывает глаза, и я вижу летящую стрелу — летящую неправильно. Острием вперед. О нет, но тогда… Мы снова бросаемся через поле. Одило Унфердорбен и его пылкое сердце. А внутри — я, пришедший не вовремя: то ли слишком рано, то ли когда было уже слишком поздно.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Эта книга посвящается моей сестре Салли, которая в очень юном возрасте оказала мне две огромные услуги. Она разбудила во мне инстинкт защитника; и ей я обязан если не самым ранним, то уж, конечно, самым ярким и насыщенным из своих детских воспоминаний. Ей тогда было, наверное, полчаса от роду. Мне — четыре года.

Я также весьма обязан моему другу Роберту Джону Лифтону. Пару лет назад я начал вынашивать идею: изложить историю человеческой жизни, прожитой против часовой стрелки. Затем однажды вечером после, как водится, эмоциональной схватки на теннисном корте Лифтон вручил мне экземпляр своей книги «Врачи-нацисты». Без нее мой роман просто не мог быть написан. Вероятно, то же самое можно сказать о книгах Примо Леви, в частности, «Человек ли это?», «Затишье», «Утонувшие и спасенные» и «Мгновения передышки». В числе других писателей, оказавших мне большую и разнообразную помощь: Мартин Гилберт, Гитта Серени, Иоахим Фест, Арно Майер, Эрих Фромм, Симон Визенталь,

Генри Оренштайн и Нора Валн. Каким-то уголком сознания я все время помнил один коротенький рассказ Исаака Башевиса Зингера и один — знаменитый — абзац из Курта Воннегута. (Не буду перечислять авторов медицинских пособий, над которыми я без особого удовольствия корпел; но я рад поблагодарить Лоренса Шайнберга за его увлекательного и жуткого «Нейрохирурга».) Опять-таки, мысли и впечатления по поводу — я имею в виду Холокост — появлялись и развивались в дискуссиях на протяжении многих лет. Выражаю благодарность всем собеседникам, в том числе моей супруге Антонии Филипс, отцу, Кингсли Эмису, отчиму жены Зану Филдингу, шурину Хаиму и свояченице Сюзанне Таннен-баумам, свояку Метью Спендеру, а также Тому Машлеру, Питеру Фоугсу, Пирсу и Эмили Ридам, Джону Гросу, Кристоферу Хитченсу, Джеймсу Фоксу, Захарии Лидеру, Клайву Джеймсу, Джозефу Бутби, Шолому Глоберману, Яну Макъюэну, Солу и Дениз Беллоу, Эдмунду и Наталье Фосеттам, Джонатану Уилсону, Майклу Питчу и Дэвиду Папино.

Подзаголовком книги я сделал слова Примо Леви: «Природа преступления». Преступление имело такой характер, что, вероятно, самоубий-

ство Леви можно считать актом иронического героизма, действием, утверждающим примерно следующее: «Моя жизнь принадлежит мне, и мне одному решать, когда ее закончить». Преступление было уникальным не по жестокости, не по трусости, но по стилю — сочетанию в нем атавизма и современности. Оно явилось примером рептильности и «рациональности» одновременно. И хотя само преступление не было специфически немецким, таким был его стиль. Национал-социалисты нашли в мозгу центр рептильной памяти — и проложили туда автостраду. Для скорости и безопасности, чтобы служила тысячу лет, ведь «рейхсавтобаны», если помните, тоже строились так, чтобы гармонично вписываться в пейзаж, как садовая дорожка.

М. Э.
Лондон
Май, 1991